

ЛИДИЯ ОБУХОВА

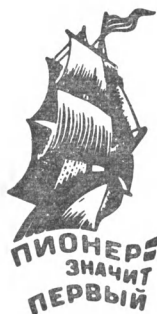
ЛЮБИМЕЦ ВЕКА



II

ГАГАРИН

II



**О тех, кто первым ступил на неизведанные земли,
О мужественных людях — революционерах,
Кто в мир пришел, чтоб сделать его лучше.
О тех, кто проторил пути в науке и искусстве,
Кто с детства был настойчивым в стремленьях
И беззаветно к цели шел своей.**

**МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1979**

ГАГАРИН

Выпуск 64 (27)

ЛИДИЯ ОБУХОВА

ЛЮБИМЕЦ ВЕКА

❖ ПОВЕСТЬ-ВОСПОМИНАНИЕ ❖

❖ ПОВЕСТЬ-ВОСПОМИНАНИЕ ❖

❖ ПОВЕСТЬ-ВОСПОМИНАНИЕ ❖

❖ ПОВЕСТЬ-ВОСПОМИНАНИЕ ❖

39.6r
0—26



○ $\frac{70803-135}{078(02)-79}$ 062—79. 4803000000

© Издательство «Молодая гвардия», 1979 г.

Гагарин был человеком будущего. Не потому, что он сделался родоначальником самой современной профессии и стал правопланговым в бесконечной шеренге капитанов грядущих космических кораблей. Он был человеком будущего по духу, мысли, устремлениям, характеру, ритмам своей жизни. Он был человеком будущего, потому что он соединил в себе лучшие черты нашего современника — гражданина страны, в это будущее устремленной.

Гагарин — это история. Не только история космонавтики, но наша новейшая история, история комсомольца, молодого советского человека середины XX века. Именно правда его жизни — величайшая ценность для современников и потомков Гагарина.

Величайшая ценность и величайшая сила. Жизнь первого космонавта обладает огромным и долговременным зарядом оптимизма. Каждому человеку биография Юрия Гагарина как бы говорит: вот смотрите, это и есть то самое, что называется советским характером.

В каком-то американском журнале Юрия называли «баловнем судьбы». А ведь жизнь не баловала его. У него было трудное детство и юность отнюдь небезопасная. Когда мы говорим о силе, которой обладает его биография, мы имеем в виду не ее привлекательность за счет радужных фактов, не обнадеживающие малодушных, действительно счастливые стечения обстоятельств, а нечто незримо более важное: самую возможность возникновения такой биографии.

Гагарин был порожден советским строем. Он появился потому, что должен был появиться, исходя из логики нашего бытия. Он встал на свое место в цепочке поколений героев потому, что настало время занять место звена этой цепочки.

Гагарин говорил: «Главная сила в человеке — это сила духа». И пояснял: «С самых ранних лет советскому человеку прививаются высокие идеалы, благородные стремления — словом, все то, имя чему — коммунистическая мораль. Вот это и дает нам могучую силу духа. В нашей повседневной жизни мы часто сами не замечаем, как приходит и накапливается такая сила. Но вот наступает день, и она вырывается наружу. Наверное, так случилось и со мной. Наверное, то же самое испытывали герои Великой Отечественной войны, наверное, то же самое чувствовали сотни тысяч комсомольцев-добровольцев, отправлявшихся на освоение целины, на строительство новых заводов, фабрик и городов на востоке нашей страны.

Гагарин удивительно точно ощущал себя во времени. И торопил время, старался сегодня проникнуть в завтра, возбуждал этим прекрасным нетерпением других. Это было, может быть, самым ценным в нем, как в человеке общественном. Воспитанник комсомола, член ВЛКСМ с декабря 1949 года, он относился к своей комсомольской работе чрезвычайно серьезно. «Очень хорошо находиться в молодежном коллективе... и конечно, в комсомольском коллективе», — говорил он. Он был членом Центрального Комитета ВЛКСМ, делегатом XIV и XV съездов комсомола и молодежного фестиваля в Хельсинки. Работа с молодежью была для него совершенно необходима, потому что эта работа и была реальным строительством будущего. За рубежом, во время бесчисленных встреч с молодежью других стран, он всегда с величайшим тактом и необыкновенным обаянием категорически отказывался от роли живого звездного памятника и выбирал себе гораздо более трудную и почетную роль страстного пропагандиста коммунистических идей, идей мира, дружбы и добра.

Когда в тридцатые годы Валерий Чкалов прилетел в Америку, его спросили, богатый ли он человек,

— Очень богатый, — ответил Чкалов. — На меня работают 180 миллионов человек. — И добавил: — И я один работаю на них.

Гагарин отлично понимал, что на него работают миллионы, и не жалел сил, чтобы не остаться у них в долгу. И не остался.

О жизни Юрия Алексеевича Гагарина написано немало. Тем труднее было Лидии Обуховой найти не только новые, неизвестные читателям факты его жизни, но определить сам тон этого документального повествования. Путь выбран единственно правильный: полный отказ от исключительности образа героя. Обаяние этого образа уходит корнями своими в неподдельную народность его, в его демократизм в самом высоком смысле этого слова. И потому уместны в этой книге рядом с фактами — молва, рядом с документом — легенда. Правда и вымысел здесь одинаково красноречивы. Правда рассказывает о событиях жизни Гагарина, легенды — о том, каким желали видеть его люди, о том, каким был он в сознании людей.

Прочтите эту книгу. В ней вы найдете двух героев. Первый — Гагарин, второй — время, рождающее Гагариных.

Ярослав ГОЛОВАНОВ

Многие необыкновенные жизни начинаются обыденно. Он начал жизнь неприметным среди сонма других родившихся в том году мальчишек, а окончил ее как Любимец века.

У него была самая обыкновенная биография. Над его головой и через его сердце прошло все то щедрое и все то грозное, что случилось на веку у Советской власти.

Как же рассказать о 1934 годе — годе рождения Гагарина? Этот год был нелегким — кажется, легких лет вообще не было в нашей истории.

Но и одинаковое календарное время может быть подобно веществу разной плотности. Год 1934-й вместил свою долю малых и огромных событий.

9 марта, когда у колхозницы села Клушина Анны Тимофеевны Гагариной родился сын Юрий, льдина с челюскинцами еще медленно дрейфовала в полярном океане и летчик Каманин в тот самый день отплывал из Петропавловска-Камчатского, в равной мере не зная ни того, что вскоре станет одним из первых Героев Советского Союза, ни тем более не мог предвидеть, что через двадцать пять лет именно ему доведется готовить полет Первого Космонавта.

Однако все это должно было случиться. Только не так быстро, как можно прочесть в книге.

В народном представлении жизнь героя в одинаковой мере складывается из фактов и из мифов. На этих страницах мы тоже постараемся передать не только то, что удастся подтвердить документами и ссылками на очевидцев, но и саму атмосферу народной памяти о Юрии Гагарине. Видимо, невозможно будет полностью отрешиться и от собственной печали и восхищения...

Главный смысл подвига заключается в нравственном переживании человека. А также в сопереживании народа этому подвигу! Таким образом, и у мифа есть своя несомненная правота: она в психологической оценке события.

И хотя космос, конечно, понятие великое, но еще важнее для нас узнать что-то о человеческой душе. О самом Юрии Гагарине. О том, каким он остался в памяти людей.

Перед нами несколько страниц из жизни Первого Космонавта.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

...Тогда Гжатск поразил простотой. В нем бросалось в глаза именно простодушие, откровенная деревенская окраска течения его жизни.

Хотя здесь есть завод «Динамик», где работал рабочим младший брат Гагарина, да и другие предприятия, но лицо городка определилось с первых шагов узенькой, заросшей кувшинками речкой Гжатью, по которой мальчишки-малолетки гоняли плоскодонную лодку, похожую на корыто, — и невольно подумалось, что и Юрий в свое время не миновал этой увлекательной забавы!

На крошечной площади, которую скорее можно было бы посчитать за перекресток, между двухэтажным райкомом из серого кирпича с оранжевыми наличниками и сквером с пятью скамьями водружен камень с именем Гагарина. Здесь будет памятник*.

Новое название города тоже выразило признательность гжатчан своему удивительному земляку.

Гагарин уже мертв. Не ему было суждено оставить следы на чужой планете. Но отпечатков его на земле

* Памятник Ю. А. Гагарину установлен в 1974 году.

очень много. И может быть, в самом деле, чтобы ощутить нечто от него самого, надо было в жаркий и пыльный июльский день увидеть, как через главную улицу женщина в длинном фартуке ведет пегую корову, а старуха торгозка нысыпает редким прохожим в газетные фунтики кислую смородину.

Город Гагарин — недавний Гжатск — лишен поэзы. Его естественность вызывает ответный толчок сердца. Не знаю, было бы на душе так грустно и так радостно, если бы приезжего встречали компактные улочки, старательно одетые в камень тротуары, подстриженные газоны. Тогда, наверно, и Юрий Гагарин, несмотря на сто тысяч его фотографий, был бы в чем-то другим. Место, где человек родился и прожил детство, чаще всего продолжает хранить с ним странное сходство, не объяснимое словами.

Инструктор райкома партии Валентина Александровна Кайманова мне говорила, что гжатчане нежно относятся к Юрию, у его камня всегда лежат цветы. Иногда она видит из окна райкома, как ребенок или взрослый кладет свой букетик. Это не привозные, не купленные цветы, они меняются с временами года: голубые подснежники весной, желтые лютики на исходе мая, белые ромашки в разгар лета, темно-красные георгины и лиловые астры осенью.

Когда городу давали имя Гагарина, на митинге женщины плакали. Они плакали потому, что он уже погиб, и потому, что был так молод.

— Как будто вырвали наше сердце, — сказал, пригорюнившись, гжатчанин преклонных лет.

Его часто называют здесь Юркой, как в детстве.

— Не надо спешить писать о нашем Юрке. Узнайте, почувствуйте, какой он был.

И очень трудно попервоначально из этой похожести на всех других, на свой город выделить его самого. Он не

главенствовал, не выпячивался, а как бы вырастал из самой почвы, подобно зеленому дереву, которое вдруг оказалось таким неповторимым.

РОДИТЕЛИ

Анне Тимофеевне Гагариной за семьдесят... Руки у нее загорелые, платье черное, в мелкую крапинку, для ежедневного домашнего обихода; а волосы убраны на затылке в небрежно скрученный кренделек из светлорусой косы. В ушах круглые зеленые камушки.

То, как она говорила, сами ее крестьянские манеры, не лишенные настороженности и достоинства, выдают в ней женщину разумную, много передумавшую, усталую от жизни — вся стоит за ее спиной, как один год! И о муже она отзывается дружелюбно и сожалительно: — Трудный он старик. И всегда был трудный. А уж после Юриной смерти подавно.

А он и впрямь старик. Глуховатый, припадающий на правую ногу.

Анна Тимофеевна приехала девочкой из Питера, когда стало там большой семье при больном отце невоготе. Их деревенька называлась Шахматово, близ Клушина. А Клушино тогда выглядело знатным селом со свсами ярмарками, с высокой нарядной колокольней. Колокольня эта потом служила ориентиром дальнотой артиллерии, которая била по немцам.

— То авиация бомбит, то орудия бьют, — сказала Анна Тимофеевна, перескакивая, как бывает при живом разговоре, сразу через несколько десятков лет. — Свои бьют и по врагам. А и в нас попадает. Страшно.

— Хорошо, что дети не помнят войну, — сказал я. Она возразила:

— Боре было пять лет, а Юре семь, они младшие,

но все помнят. Страху натерпелись достаточно. У нас немцы долго стояли: они отсюда, с Гжатского языка или клина, снова хотели на Москву идти, долго здесь держались. А уж как мороза трусили! У нас мальчишки маленькие терпеливее. А тут идет мужчина, офицер, а сопли распустит и даже не утирает. Противно смотреть!

В ее голосе прозвучала брезгливость русской крестьянки.

— А брали что ни попадя! Я уж потом, бывало, наварю два чугуна картошки и выставлю на стол; чтоб не шарили, детей не пугали. Все хотелось их заслонить. Да не всегда получалось. У нас одно лето стоял Альберт, механик, они аккумуляторы заряжали. Так Юра с Борей ему песку в выхлопную трубу насыпали.

— Хорошо, что не поймал!

— Какое не поймал! Именно что поймал. Юра несколько дней потом в дом не шел, в огороде прятался, ночевал даже. Я ему и еду туда носила. Потом надоело мне это. Говорю: «Идем домой. Если озверееет немец, так я впереди, мне все и достанется». Упирается. Отцу говорю: «Прикажи ему. Нельзя же, чтоб ребенок жил на улице». Когда привела его через силу, Альберт только погрозил издали: «Юра никс хороший малшик».

Уже когда Юра приезжал взрослый, я его как-то спросила: «Что он тебе сделал, что ты так боялся?» — «А он, — говорит, — поддал мне кованым сапогом, я и летел шагов двадцать, пока об землю не шмякнулся».

Неизвестно, жив ли тот Альберт, а если жив, то, конечно, давно старик со своими старческими немощами. У него взрослые внуки, и едва ли он помнит постой в смоленской деревне, мальчонку, которого походя пнул. Мало ли их было, русских мальчишек.

Хотя, разумеется, — если он только уцелел! — слышал про первого в мире космонавта; а внуки Альберта, которые живут уже совсем другой жизнью, конечно,

восхищенно разглядывали газетные снимки и даже представить себе не могли, что их дед тоже имел — злое и мимолетное — касательство к жизни героя.

В семье Анны Тимофеевны, в девичестве Матвеевой, было четырнадцать детей. Живыми осталось пятеро. Старший брат умер уже двадцати трех лет. Был у него нарыв в горле, так и задохнулся. Мать упала без памяти. Девять дней пролежала, не приходя в сознание, умерла от разрыва сердца.

Было уже предреволюционное время. А затем и революционное. Шестнадцатилетняя Маруся записалась санитаркой в красногвардейский отряд, чтобы оборонять Петроград от генерала Юденича. Отряд собирался у Смольного. Вдруг кто-то сказал, что троих просят зайти. Маруся с брезентовой сумкой на боку тоже пошла.

В комнате за столом сидел Ленин. Он поднялся и подошел к ним, сказал несколько приветственных слов. Ростом оказался невысок, а в лице его прежде всего бросались энергия и подвижность черт. Взглянув на румяную Марусю, на ее совершенно еще детские глаза, устремленные на него с любопытством и доверием, Ленин спросил, не страшно ли ей идти в бой.

Но что такое бой, раны, смерть, Маруся по молодости лет просто еще не понимала и честно ответила, что нет, ни капельки не страшно.

Ленин, возможно, едва приметно вздохнул. Она этого тогда бы не заметила и не поняла.

Времени оставалось мало. Ленин выступил перед отрядом с напутствием — и вот уже сбитые сапоги застучали по торцовой мостовой, на ходу приноравливаясь и стараясь шагать в лад. Маруся тоже шла в рядах со своей санитарной сумкой, еще не ведая, что оставляет позади самую значительную минуту своей жизни — встречу с вождем революции...

Сестры Матвеевы — Мария, Анна и Ольга — всегда

шли со своим веком наравне, не отставая от общего движения и не жалуясь на тяготы. Привязанность их друг к другу с годами оставалась прежней.

При первом слухе о разделе помещичьей земли Матвеевы решили тронуться на родину. Поезда ходили плохо, еле добрались до Гжатска, а оттуда шли уже пешком. Стояло половодье, сырой ветер леденил промокавших путников... Но таким приветом встретила их родная деревня, особенно когда вытопили печь, что показалось, все трудное позади. Это было обманчивое облегчение. Вскоре отец умер. По деревне прошел тиф: за две недели три покойника в доме! Анна осталась в родительской избенке круглой сиротой с двумя младшими на руках — Колей и Олей. В пятнадцать лет она пахала, боронила, косила, возила дрова из лесу.

— Если б сиротой не осталась, я, может, и не вышла замуж в чужую деревню. Двадцати мне еще не сроднялось. Я ведь училась хорошо. Хоть и несколько классов кончила, а арифметику знала так, что всем своим детям помогала задачи решать. Только когда алгебру начали, я отступилась: алгебре меня не учили. Тогда в деревне мало было грамотных людей, и мое бы образование пригодилось, но муж был против.

— Не хотел, чтобы женщина занималась неженскими делами?

Она неопределенно пожала плечами.

— Он вообще с норовом. И Юре после шестого класса твердил: иди да иди в ремесленное. Сам плотник хороший и профессию выше всего ценит...

На этом нас и прервал Алексей Иванович Гагарин, явившись с непокрытой головой, заросший седым ежиком, и хоть пожал руку сухой маленькой рукой, но смотрел в сторону, раздосадованный моим вторжением. Был он низкоросл, сердит, с очень яркими синими глазами. Вопреки неприветливости его внутренняя энергия и не-

зависимость, ревнивая любовь к памяти сына произвели хорошее впечатление.

Часы пробили шесть. Низкое вечернее солнце светило в стеклянную стену этой парадной, словно бы и нежилой, комнаты с красной ковровой дорожкой, как в учреждении, с огромными плакатными изображениями Юрия Гагарина, его фотографиями на полстены, раскрашенными и черно-белыми, с чьими-то подарками — бюстиком Шевченко и лицеиста Пушкина, а рядом с телевизором еще и старика с бородой, в длинных волосах, со взглядом улыбчивым и близоруким, что было заметно даже в гипсе. Был он чем-то похож на Циолковского, калужского учителя, в общем на человека из прошлых времен, и оказался отцом Анны Тимофеевны, питерским рабочим и революционером, так что действительно, явственная печать девятнадцатого века на его облике не обманула. Слепок сделан недавно по фотографии ленинградским скульптором.

Глаза Анны Тимофеевны с мимолетной нежностью глянули в сторону отца. А еще она оживилась и заулыбалась, когда достала на прощанье фотографии, домашние, обыкновенные, — и между ними младшего сына Бориса, его жены, самой Анны Тимофеевны с девочкой-первоклассницей в полной школьной форме. У внучки привлекательное смышленное личико. Этот дом был не таким пустым, как показалось вначале. Жизнь продолжалась и в нем.

...На закате гжатские обугленные маковки приобрели живые изящные очертания. По пепельно-розовому небу к ним слетались птицы; в теплом воздухе носились звонкие выкрики.

Почти левитановской стала и недвижная Гжать с единственным рыболовом на берегу. Почернели круглые листья кувшинок; воздух густел, густел и непримет-

но переходил в сумерки. Но еще долго вели свою вечернюю охоту ласточки.

Когда они выются высоко, это предвещает погожий день. С забубенным писком черным дождем падали сверху стрижи. Стрижи в самом деле как будто стригут небо; щелкают звонкие ножницы, и вот-вот посыплутся во все стороны голубые лоскутья.

Нет, до чего же неугомонны здешние птицы! Их свистенье, клекот, щебет, свист так и стоят в воздухе, хотя темнеет на глазах. Жалко расставаться с днем? День был простой, обыкновенный, щедрый и солнечный. Первый мой день на родине Гагарина.

КЛУШИНО В СТАРОДАВНИЕ ВРЕМЕНА

Хотя в тот уже далекий мартовский день, клонившийся к вечеру, подернутые поволокой глаза еще безымянного малыша открылись впервые именно в Гжатске, но младенчество и раннее детство его прошли в селе Клушине. Там, где текла хлебопашеская жизнь нескольких колен предков, была и его родина.

Изба Гагариных стояла предпоследней на западной окраине села, неподалеку от большой ветряной мельницы. Сейчас ни этой мельницы, ни старого гагаринского дома нет. Клушино вообще слишком часто попадало на проезжую колею истории; разорение, пожары, войны то и дело перекраивали его внешний вид. Но окрестность мало изменилась.

Край здесь равнинный. Как яблочко по тарелочке катится невозбранно взгляд по лугам и полям, натываясь лишь на копны сена с перекрещенными сверху жердями да на далекие, подобные разбредшимся муравьям, стада. Кустарник, травяные канавы, холмы, длинная полоса пыли по проселочной дороге — вот это и есть земля,

над которой клубится облаками высокое, как лоб великана, небо.

Если отойти шагов на двести от огородов, встать посреди луговины в редких ромашках и бубенцах конского щавеля, приметив для ориентира иглистый куст чертополоха, то откроются сразу все четыре стороны света. И каждая будет приукрашена сиянием соответственно часу суток — рассветным или закатным, полуденным или полunoчным.

Когда в августовском предвечерье, заслоня низкое солнце, облако на западе станет похоже на сизый дреднот, его восточный собрат, легкий белый, проплывет невесомо, собирая на себе, как парусный кораблик, дневной отблеск. В такой час верховой пастух гонит стадо мышастых коров на вечернюю дойку, а привязанные к колышкам козы настырно мекают, призывая хозяйку. Не дожидаясь сумерек, примется тарахтеть движок; задымится летняя кормокухня. В деревенских садах яблоки-падунцы безостановочно, как удары маятников, валятся в траву с глухим укорливым стуком...

Все это похоже на древнюю пастораль земли, неизменную от века к веку.

И все-таки именно здесь увидел впервые мир тот русский мальчик, которому было суждено пропороть небесный свод и лицезреть небо посреди дня не синим, а черным, да и сам день обогнать, поравняться с земной ночью и встретить вновь рассвет, отдаленный от заката не часами, а минутами.

Из тех следов, которые оставляла тяжелыми колесами история на клушинской земле, самым необыкновенным, бесспорно, останется след мальчугана, который учился здесь ходить. Однако его жизнь не стоит особняком; она вписалась в протяженную во времени летопись, достойную и сама по себе уважения.

Работник краеведческого музея Иван Сергеевич Ге-

расин достал переплетенные в твердую обложку рукописи по статистике, этнографии и истории здешних мест. В первой рукописи зияла сквозная дыра, видимо прогрызенная мышами, но выцветшие чернила сберегли четкий крупный почерк. Следующие листы сохранились в целости, хотя им близко к сотне лет.

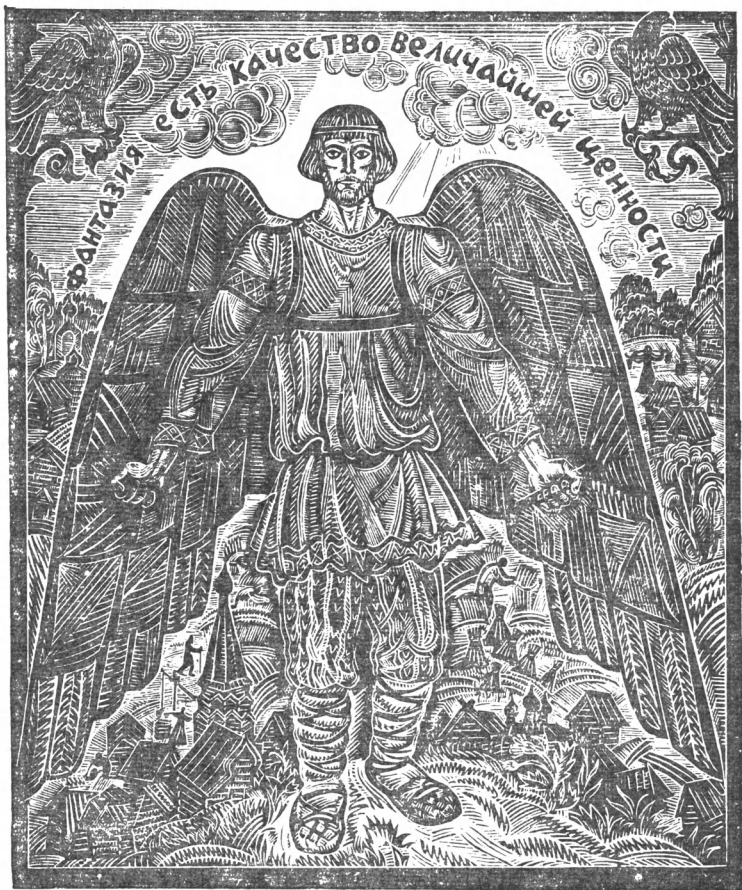
И вот что я узнала о селе Клушине.

Исторически знаменитое, некогда цветущее, и, если верить преданию, резиденция удельного князя, село Клушино лежит на отлого-гористой возвышенности в 12 верстах на северо-восток от Гжатска по старинной Волоколамской столбовой дороге. Оно расположено четырьмя слободами или улицами. На возвышении церковь.

Река Дубна берет свое начало в семи верстах и впадает в Гжать. Правая низменность сохранила название околицы. Река Дубна заимствовала свое название от дубовой рощи. Сейчас исток окружен кустарниками и молодыми березами. Дубы исчезли бесследно.

Почва суглинистая, плодородие скудное. Окружающая местность ровная, низменная. В глубокую старину на ней был древний строевой лес с непроходимыми болотами, от которых остались одни кочки и трясины.

Когда и кем основано, неизвестно. Предание говорит, что прежде называлось городком Галкином. Что в нем жили князья царского рода; указывают место суда и расправы. В горе при деревне Мясоедово будто были рудники и чеканилась монета. Село Клушино производят от имени: жил-де здесь боярин Клуш. Правда, Василий Федорович Бирюков, здешний старожил, слышал от деда несколько иначе: была когда-то женщина, укрывавшая в лесу беглых, вот ее и прозвали Клушей. Сама-то она была вольная, но вокруг тесно примыкали друг к другу владения графов Каменских, князей Голи-





циных и монастырские земли: было от кого бежать крепостным!

«В русскую историю, — сообщает старая рукопись, — занесен тот факт, что в 1610 г. гетман Жолкевский при селе Клушине разбил тридцатитысячную русскую армию, предводимую Дмитрием Ивановичем Шуйским, братом царя Василия Шуйского. В двух верстах от села к северу есть курган, на который указывают, как на памятник этой битвы, как на могилу павших. Таким образом, первое достоверное известие о Клушине восходит к началу 17 века, к временам междоусобицы».

Скупые сведения о клушинской трагедии дополняет академик С. Б. Веселовский в своей работе о предках Пушкина. Да, под Клушином, на поле боя вполне могли стоять бок о бок дальний предок поэта и еще более отдаленный пращур космонавта! Правда, последний остался бы для истории безымянным, тогда как Григорий Григорьевич Сулемша был, по словам академика, «не только дельным, но даже выдающимся воеводой». Гаврила Григорьевич Пушкин, младший брат Сулемши, тоже воевал под Клушином. Поражение решило участь царя Василия.

Если постепенно взбираться дальше по ступеням веков, имея в примете историю села Клушина, то существовал документ и 1677 года, так называемый Столбец, писанный старинной рукою под титулами и хранимый свернутым в трубку. Это челобитная крестьян о том, что клушинские попы владеют лишнею землею. Он интересен точной сословной расстановкой действующих лиц: кого Столбец величает по имени-отчеству, кого просто по имени и фамилии, а кого и уничижительной кличкой. Так, писец, важная по тем временам фигура, статистик и экономист, заносивший в свои писцовые книги полный реестр земель и имущества, назван уважительно Афанасием Семеновичем Лбянским. Низший чиновник, подъячий — со-

временный делопроизводитель, — более кратко Игнатием Писиным. А клушинский староста — смерд, хлебопашец — пренебрежительно Андрюшкой Кирнаковым.

Но продолжим чтение изгрызенных мышами «Смоленских епархиальных ведомостей» за 1877 год, который столь неторопливо и обстоятельно, хотя, разумеется, со многими пропусками и умолчаниями, излагают историю Клушина.

«Археологических остатков бывшего в нем княжени» совершенно нет. Рассказывают, что несколько ранее 1812 года крестьяне напали на род подвала, ямы или погреба, где нашли много разноцветной одежды, совершенно истлевшей. Одежда имела форму допетровских времен, то есть кафтана или богатого зипуна. Вообще, это смутное предание: найденная одежда распадалась в пыль».

Изредка находили клады в окрестностях Клушина; монеты восходят от царя Ивана Васильевича, и не моложе 17 века. Некоторые отыскивали их, путешествуя со щупом, то есть железным прутом, который погружали в землю. Такое настойчивое верование дает намек на то, что близ села когда-то были люди, имевшие возможность прятать сокровища. Быть может, эпоху эту следует отнести ко времени удельных князей. Тем более что в Гжатском уезде остались следы бывших крепостей или замков в виде правильно округленной насыпи, на котсрой идет очень узкая дорога. Таких насыпей несколько, например, близ сел Колокольни, Будаева, Варганова. Все они известны под именем «жилища богатырей русских, откуда они перекликались друг с другом».

«...Разорение 1812 г. дотла истребило Клушино. При наступлении мелкие отряды французов, заходивших в Клушино для фуражирования, буквально истреблялись клушанами. Один из крестьян сторожил французов на колокольне, завидев неприятеля, ударял в колокол, бил

набат, все прятались в конопля и из этой засады нападали или ждали, пока французы сложат ружья в козлы. Тела убитых французов, особенно при их отступлении, бросали в колодцы и засыпали землею».

Достопамятный 1812 год истребил документы, хранившиеся в церкви, которых, говорят, было немало. Клушино жестоко пострадало в эту эпоху, народ иначе не называет ее как «разоренье». Клушино вынесло два разорения — другое литовское, времен Шуйского.

КЛУШИНО В ОКТЯБРЕ

К пятидесятилетию Советской власти местная гжатская газета «Красное знамя» печатала записки одного из первых клушинских комсомольцев, К. М. Ковалева, доцента Пятигорского фармацевтического института.

Он начинает с воспоминаний раннего детства, когда воображение мальчишек особенно поражала буйная деревня Прилепово (вплотную за речкой Дубной примыкавшая к Клушину. Оттуда была гагаринская бабушка Настасья Лысикова). Славилось Прилепово зачинщиками всех драк и умением постоять друг за друга в кулачном бою. Но в обыденной жизни и клушинские и прилеповцы были одинаково покорны. «Бедняки, — пишет Ковалев, — низко кланялись богатым Рублевым, мельнику Гольцову, Галкиным за то, что они в трудное время втридорога ссужали им пуды ржаной муки. В праздники село наводняли толпы нищих и калек. Большинство хозяйств жило за счет отхожих промыслов. Только на пасхальные и рождественские дни кормильцы наезжали домой. Тогда в трактире Смольянова собирались за «парой чая», заводили осторожный разговор о политике».

Мировая война обрушилась на клушан мобилизацией

и реквизициями. Как жилось их землякам «во солдатах», судили по расквартированному в селе в 1915 году резервному пехотному полку. На заснеженной окраине от темна до темна шла унизительная изматывающая муштра, а вечером в крестьянских избах, где от жарких печей сами собой слипались глаза, свирепствовала «словесность»; солдат должен был назубок знать имена со всеми титулами царя, царицы, наследника и великих княжон.

«Февральская революция, а затем и Великий Октябрь вторглись в нашу жизнь подобно вихрю! — вспоминает Ковалев. — Убিরались из присутственных мест портреты царя, потом и Керенского...

Нам, ребятишкам, многое было непонятно. Революцию мы восприняли как хождение с красными флагами, исчезновение урядника да отмену в школе «закона божьего». В один из дней мы устроили забастовку и, как говорится, «наладили» из школы священника Дмитрия Клюквина... Глубокой осенью 1918 года тупые звуки винтовочной стрельбы и пулеметных очередей доносились из Гжатска, уездного центра. Поползли слухи о контрреволюционном мятеже, о расправе с арестованными большевиками. Село притаилось и ждало. Многие побаивались ответственности за то, что Клушино стало как бы своеобразным поставщиком военных комиссаров и других деятелей волостного и уездного масштаба. Я хорошо помню Ивана Семеновича Сушкина, человека кристальной честности, военкома Пречистинской волости. Ивана Ивановича Смольянова, Василия Семеновича Огурцова и многих других. Мятеж в Гжатске начался 18 ноября. Уже вечером прибывший из города И. И. Смольянов предупредил сельских коммунистов, чтобы они ушли в подполье. Но Сушкин ответил: «Я никому ничего плохого не сделал и скрываться не буду». Утром 19 ноября село представляло собой разворошен-

ный муравейник: перешептывались, озирались по сторонам. Около одиннадцати часов дня, вооруженные чем попало, в Клушино вошли толпы, предводительствуемые кулаками и попами. Вожаки их пригрозили: «Вот город возьмем, на Москву пойдем, а потом, когда в Москве установим свою власть, тогда примемся за вас». Я видел, как прискакала группа всадников на взмыленных конях, как мятежники ворвались в избу Сушкина. Видел, как вывели его из дому, как били прикладами... С гордо поднятым лицом шел комиссар Сушкин навстречу своей верной смерти. Шел как победитель».

Посреди Клушина стоит могильный холмик с деревянной оградой. Маленький Юра, верно, бежал мимо него, не останавливаясь, но депутат Юрий Алексеевич Гагарин, приехав однажды в родное село, замедлил шаг и обнажил голову. Здесь ведь тоже было «жилище богатыря русского», как и под старинными курганами!..

ДЕТСТВО

Он осознал себя с той минуты, когда длинным прутиком пошевелил лужу. После дождя она стояла гладкая и синяя. Намного синее неба, да неба он и не видел. Человек, присматриваясь к окружающему, никогда не начинает с неба. Три десятилетия спустя Нил Армстронг, первый человек на Луне, тоже не сможет вспомнить, видел ли он звезды. Внимание было поглощено цветом и формой камней, длинными лунными тенями, следами на скользком грунте...

Осколок воды светился у самых Юрушкиных ног, он стоял так близко, что даже не отражался. Волшебная лужа казалась немигающей.

Вот тогда он ее и шевельнул прутиком. Какое стран-

ное мгновение! Ребенок прикоснулся к миру как к рисованной картинке — ан картина ожила.

Дальше потекли дни и месяцы, сложились в годы, и он их уже помнил.

Но кое-что из его жизни осталось достоянием только матери. Вся первая неделя, начавшаяся на исходе мартовского дня, в пять часов тридцать минут пополудни; первый ночной крик, от которого роженица всполошилась, а няньки сонно успокаивали ее: «Не ваш, не ваш». И то, как мать впервые отвела ему со лба темненькую кисточку волос. И первую дорогу из Гжатска в Клушино на колхозных санях, по снежным ухабам, которую он никак уж не мог помнить, а Анна Тимофеевна помнит и посейчас.

Не потому ли он будет потом так рваться в старый Гжатск и в тихо захиревшее Клушино, так торопить мотор, пугая попутчиков головокружительным ритмом движения, так безжалостно натруживать шины своих двух безотказных лошадок — советской «Волги» и гоночного автомобиля, подаренного ему во Франции, — что именно здесь на каждом углу и за любым поворотом встретит его прежний мальчик, Юрка Гагарин, который весь был готов к полету, нацелен в него, но только не знал еще, что это за полет и какая у этого полета трасса.

...Пока же он лежит в люльке, которую принесли с чердака, где она простояла порожней шесть лет после сестры Зои. Хорошая это была люлька, на пружине. Мать покачала ее только первые три месяца, а потом спозаранку уходила на работу в колхоз, оставляя Юрушку — так звали его в детстве — на семилетнюю Зою да бабушку Татьяну, которая доводилась тещей дяде Николаю, старшему брату отца. В деревне все жили тесно, считаясь с самым дальним родством. Старухи занимали особое, важное место: на них оставляли и младших

детей, и мелкую домашнюю живность — кур, коз, поросят. Дряхленькая бабка Таня однажды уронила трехмесячного Юру с колен, а в декабре, когда мать отняла его от груди, напоила ревущего младенца водичкой со льдом. Впрочем, это, кажется, было уже позднее, когда Юре минуло полтора годика. Он заболел воспалением легких, мать повезла его в Гжатск, в больницу, но не захотела оставить одного и вернулась тем же санным трактом в Клушино, где лечила домашними средствами, прикладывая горячие бутылки. Это вовсе не свидетельствует о деревенском невежестве: просто в те времена еще не были изобретены ни антибиотики, ни даже сульфидин — ведь мы ведем речь о тридцатых годах.

После долгой болезни, кстати, чуть ли не единственной за всю жизнь Гагарина, потому что он лишь еще раз, уже после войны, в Гжатске, хворал малярией, а позже ни его родные, ни однокашники по ремесленному училищу или по техникуму и летной школе не могли припомнить ни одного случая нездоровья, — так вот после той первой болезни он ослабел настолько, что не становился на ножки, перепугав мать. Но понемногу окреп, и жизнь его уже обретала какие-то зримые черты, оставляла следы в памяти. Сам Гагарин говорил потом, что помнил себя очень рано.

По утрам он просыпался от гусиного гоготанья. Оно возникало на низкой ноте, и смутно-разрозненный звук проснувшегося стада забирался все выше, как хор певцов.

Ночная изба, полная дыхания спящих, к утру начинала простукиваться молотком древоточца, а вечерняя песенка сверчка, напротив, утихала с рассветом. Сквозь запотевшие стекла были видны все та же травяная улица и небо, опустившееся до самого крыльца, — так низко оно лежало и так далеко раскидывалось. В сенцах

пахло яблоками-падунцами; их собирали в решета и ведра, чтобы скормить скотине. Яблочный дух казался хмельным. После него прохладная свежесть утра вливалась в грудь, как целое ведро колодезной воды. Вода оборачивалась особенной: сладко-пресная на вкус, мягкая подобно шелку, она доилась из рукомойника-водолея тонкой струйкой, а в пригоршне лежала светлым стеклышком.

Бабка Сидорова, Анна Григорьевна, называемая в семье Ньюнкой, родня на седьмой воде — свояченица отцова брата, — одинокая, бездетная вековуха, жившая по соседству, ставила большой самовар возле своего крылечка, кликала через ограду:

— Приходи, Юрушка, у меня конфетки есть, чайку попьем, поблаженничаем!

Эта бабушка Ньюнка играла в его раннем детстве добрую роль: она его и нянчила, и баловала, и укрывала от родительского гнева. Жилистая, высокая, в белом платочке и разлетающейся кофте, резкая на слово, порывистая и немного чудаковатая старуха — такой она осталась до последних лет, когда, уезжая в инвалидный дом, перекрестилась на четыре стороны... «Прощайте меня, добрые люди, в чем виновата».

— Ох нечистая сила! — обличала она обычно кого-нибудь. — Разве нам Ленин так велел в колхозе работать?

Было у нее при доме пятьдесят соток, она сама перекапывала их под картофель.

— Чего ж ты, Ньюша, в колхозе помощи не попросишь? — говорили ей.

Она энергично махала рукой.

— Пока они с плугом приедут, у меня уж зацветет! Держала коз и нежно звала их как малых ребят:

— Сидорки, сидорки!

Когда в Клушине узнали, что в космос полетел

именно Юрий Гагарин, Анна Григорьевна размышляла вслух:

— Я все думаю, как же он туды попал? Выйду и смотрю на небо. И еще — как обратно вернулся? Всю жизнь молюсь за него, может быть, всевышний по моей молитве и вернул?

Однажды пронесся слух, что Гагарин едет в родное село. Сбежалась толпа. Действительно, приехал, но не один: вокруг него начальство.

— Я в избу прибежала, стою, умом не соберусь: то ли навстречу бежать, то ли здесь оставаться? — рассказывала потом бабка Нюня. — Вижу, к моему домику поворачивает сокол мой! Не забыл. Не побрезговал. Оглянулась вокруг: чем же его приветить, повеличать? На иконе у меня голубь хранился, сняла я его и иду к дверям, держу перед собой того игрушечного голубя. Думаю: вдруг засмеется, застыдит меня? А Юра смотрит так серьезно, так строго, и все военные за ним следом идут; домишко у меня ветхий, половицы под ногами подламываются. Таких гостей отродясь здесь не было.

Взял Гагарин голубя из рук бабки Нюни, обнял ее, она завывала в голос, по-деревенски, но не хотела задерживать, да и любопытна была — тотчас смолкла. «Откуда ты теперь сам, голубь мой?» Он улыбнулся: «С неба, тетя Нюша».

...Пока же Нюня зовет пить чай из поспевшего самовара не космонавта, а маленького мальчика с челкой во весь лоб.

Он бы и пошел, да вдруг засмотрелся: ходят по зеленому лугу белые куры, а поодаль черные грачи. Ищут корм, разрывают корневища клювами. И те птицы, и эти. Но вот затарахтела телега: куры закудаhtали, замельтешили, юркнули в дыры частокола, а грачи взмахнули вольными крыльями и полетели куда им хочется.

Кур он знает наперечет; помнит, как проклевывали скорлупу, выпрыгивали мокрыми на белый свет, потом катались желтыми шариками между отцовскими сапогами, а когда затевали драки, малость уже оперившись, то наскакивали друг на дружку, как и они с Борькой. Только цыплята норовили долбануть в ярко-розовый гребешок клювиком, а они с Борькой выбрали пустые пузырьки, и не успел Юра опомниться, как пропорол брату лоб треснувшим осколком. Ну тут уж надо удирать! Или к бабке Нюне, а лучше в луговину, за мельницу, в частые кусты. Борькин рев гудит за спиной, будто рой шмелиный по пятам гонится...

Для ребенка земля велика. Отошел два шага от дома, и уже иная страна. Знакомая? Аң нет. Вчерашний день был другой, чем нынешний, вчерашняя земля непохожа на сегодняшнюю. Грубый лист позднего щавеля вчера застрял между зубами, сок был ядовито-кисел. А сейчас Юра сгрыз его, не замечая вкуса, — так задулся.

И день был вчера знойный, а сегодня солнце ходит за облаками белым гривенником. Юра запрокидывает голову, ищет светлое пятнышко...

Но вот дело к вечеру, и он все-таки сидит у Нюни в старой избе, где однажды просел потолок и сквозь соломенную стреху засветилось небо. Сонно тянет чай из блюдечка, а хозяйка бармочет:

— Окна плачут. Как бы дождя не было. Аль от самовара? Да ты задремал, голубы?

У каждого есть сны детства. Какая-то дорога, какой-то дом.

Рассказать об этом нельзя. Во сне важен не ландшафт, хотя он отчетлив, но ощущение, с которым мы смотрим вокруг.

Пусть не покажется странным, но и у Юрия, помимо его энергичной повседневной жизни, мне жалко. и его

снов. Того, о чем он никому не поведал и, может быть, не часто вспоминал сам. Неповторимое для каждого поэтическое ощущение мира, которое жило в нем, и нам уже никогда не узнать: был ли то петушиный крик в косом красном луче солнца или блаженное ощущение младенческого полета, когда тело становится послушным и устремляется вперед на одном лишь желании? Может быть, его жизнь незримо осеняло видение плещущей на ветру ореховой ветви с шершавыми рубчатými листьями? Или сонм искр от лесного костра? Ведь в детстве человеку равно принадлежат и земля и небо; он владычествует над ними и распоряжается по-своему.

Судьба подарила Юрию завидное детство, не стесненное размерами городской квартиры. На первой странице своей книги-беседы «Дорога в космос» он вспоминает «желтоватую пену стружек» и то, что мог «по запахам различить породы дерева — сладковатого клена, горьковатого дуба, вяжущий привкус сосны...» Брус-ки, щепки, камушки, обрезки кожи, гвозди, рыболовные крючки, обрывки пеньковой веревки, глиняные черепки — да это же необъятный арсенал! Сокровища, которые только и ждали приложения его сил и выдумки.

И мать, и старший брат Валентин помнят, что еще совсем малышом, дошкольником, он смастерил себе лыжи, и они служили ему как настоящие. Валентин Алексеевич в своей документальной повести рассказывает о предновогодних днях, видимо, 1940 года, когда в крепкий мороз Юра с приятелями бегал на этих самых лыжах довольно далеко, в лес, и что встретил там лису и зайца.

Скорее всего это была мальчишеская фантазия, непременно стремящаяся к гиперболе.

Так и прекрасные самодельные лыжи, способные унести не только в лес, полный зверья, но и задержать-ся на секунду в воздухе, пока они с Володией Орлов-

ским, обмирая от ужаса и наслаждения, прыгали, будто с крошечного трамплина, с края оврага — эти лыжи, еще обледенелые и заснеженные, уж отступили на задний план. Юра весь взбудоражен новостью: встречей с учительницей Ксенией Герасимовной — она позвала его на школьную елку! И не просто так придет он, дошколятка, глазеть, а будет читать стихи.

Растроганная мать достает обновку: голубую рубашу с белыми пуговками...

Как странно сейчас подумать, что на космодроме Гагарин спал спокойно, а новогодняя елка потрясла его душу настолько, что еще задолго до рассвета он соскочил с печи и разбудил Валентина и Зою: как бы старшие не опоздали!

Впечатления детского возраста неповторимы. Сколько бы раз потом они не повторялись! Разница лишь в том, что клушинская елка была волшебной новинкой для одного-единственного малыша в небесно-голубой рубашке и старых, подшитых валенках, а фантастическую округлость Земли глазами Гагарина увидело все человечество...

И вот наконец заспанное декабрьское утро разлепило ресницы, поморгало ими, осыпая иней, а на белых цветах в окне робко и поздно заиграли розовые змейки. Праздник начался. Юра стоит под елкой, он читает стихи. Про кошку. Тут возникает маленькое разночтенье, впрочем вполне извинимое для непрочной человеческой памяти. Самому Юрию Алексеевичу помнилось, что случилось это гораздо раньше, когда ему было всего три года, и сестра Зоя — видимо, тогда третьеклассница — взяла его с собой в школу на Первомайский праздник. («Там, взобравшись на стул, я читал стихи:

Села кошка на окошко,
Замурлыкала во сне...

Школьники аплодировали. И я был горд: как-никак первые аплодисменты в жизни». А старший брат относит «кошку» к новогоднему утреннику, гораздо позднее. («Елка стояла в классе, упираясь пятиконечной звездой в потолок, переливалась всеми цветами радуги. Вокруг елки хоровод. Учительница Ксения Герасимовна потрепала Юрину челку: «Молодец, что пришел. Стихи расскажешь «Про кошку...»».)

Вообще, его декламацию запомнили многие. И все го-своему. Так, Василий Федорович Бирюков, который перебивал в Клушине, пожалуй, на всех постах, а очень долго и единственным членом партии, пока не подросли ребята и не пришли демобилизованные, говорил потом:

— Мальчик Юра был смелый. Делаю доклад, а он тоже выйдет на сцену, подпоясанный широким ремнем. Уверенно так стоит...

А в памяти Зои Александровны Беловой, доярки, запечатлелась иная картина:

— Юра, бывало, выступает, стихи декламирует... Порточки старые, вырос из них, до ботинок не достают, руки плотно к бокам прижмет и говорит медленно так, с запинкой, что все волнуются, не забыл ли? Нет, помнит, все точно скажет. Только медленно.

Клушинские времена года, сменяя друг друга, приносили все новые впечатления Юре Гагарину: красота мира приходила к нему легко, как дыхание. Поздней осенью из-под бледного настила опавших листьев под давлением его ноги выступали пятна болотной мокрети. Захолодавшие деревца стояли в стеклянной воде, настолько прозрачной, что все листья, сучки и былинки были видны наперечет. Тонкая пленка заморозка, если исхитриться посмотреть на нее под углом, была разрисована папоротниковыми зубцами, а ледяные жилки,

словно процарапанные иголкой, складывались в узор, похожий на вышивку праздничного полотенца.

Потом ложился снег, сутками мели метели. Дом визжал, звенел, выюга била его со щеки на щеку. Казалось, еще немного, и чердак будет срезан, смыт снежной струей, его завертит, как ту обломанную ветром березовую ветвь, которая с шумом, почти с человеческим воплем долго носилась между стволами. Наконец она прилепилась к сугробу, примерзла, но еще долго пугливо вздрагивала, била беспомощно веточками, вспоминая свой полет.

«В иные дни так занесет, что и колодца утром не найдешь», — вспоминала мать.

Жилось ей по-прежнему нелегко и хлопотно. Пока Клушино было разделено на несколько колхозов, в своем маленьком «Ударнике», куда входила их околица, Анна Тимофеевна была и пахарем на двух лошадях, и заведовала молочной фермой. («Бывало, примчишься с ребятами к маме на ферму, и она каждому нальет по кружке парного молока и отрежет по ломтю свежего ржаного хлеба».) Когда колхозы слились, чтоб быть поближе к дому, Анна Тимофеевна сделалась телятницей, а затем и свиаркой. Она не боялась никакой работы и оставалась такой же дружелюбно-немногословной, освещая дом своей не погасшей за долгие годы улыбкой.

Отец, о котором Юрий всегда отзывался как о строгом, но справедливом человеке, не баловавшем напрасно и не наказывавшем детей без причины, не всегда жил дома: чаще он работал плотником в колхозе или на мельнице, но случалось, что уходил и на дальние заработки. Так, год провел в Брянске. Однако именно он, хотя и бывал в отлучках, «преподавал нам, детям, первые уроки дисциплины, уважения к старшим, любовь к труду», — писал потом Юрий.

...Подошла последняя предвоенная весна. Осевший снег засипел под сапогами. На голых ветвях на солнышке уже грелись галки — черные, с пепельным ошейником и глупыми голубыми малинками глаз. Сварливо-трескуче кричала в кустах сойка; будто терли два напильника. Стеклянно тенькали синицы — самые певчие птицы первоначальной весны.

Вздунулась в берегах маленькая Дубна. Серая талая вода шла без всплеска, гладкая как зеркало; льдины отражались в ней чисто и прекрасно.

Солнце припекало; безостановочно кричали грачи, устраивая на березах гнезда и воруя друг у друга длинные упругие хворостины. Речка дышала снежной прохладой. Голос ледохода, слабый и упрямый, всплески, шуршанье и торканье льдинок, внезапный звучный всхлип, бульканье струй, шепот, шелестенье — все напитывало тишину плотно и радостно. Река неслась вперед.

Наслаждение быстротой! Оно началось для Юры визжащим летом салазок и тяжелым скаканьем ездовой лошади, а затем продолжалось бегом наперегонки по теплему лугу. Он, может быть, и не сохранил бы всего этого в памяти, если б быстрота сама не вошла в клеточки его тела, не стучала постоянно нетерпеливой жилкой на виске. Наслаждение быстротой! Одна из главных радостей его жизни.

Знавал он ее и потом. Не только свободные дни, но даже часы готов был Гагарин провести в мимолетном свидании с родными местами. Из Москвы на Гжатск дорога шла между спутанными ольхой березовыми рощами. Поляны, заросшие иван-чаем, вдруг кидались ему в глаза праздничными красными платочками и тотчас исчезали, оставались далеко позади. Казалось, что колеса вот-вот могут оторваться от серого полотного шоссе с черными заплатками свежего асфальта и упру-

гое тело машины, набычась ветровым стеклом, рванет ввысь.

Скорость затягивает, от нее уже невозможно отказаться. А ведь он знал скорость предельную, еще никем до него не испытанную. Космический прыжок остался в крови...

Те семь километров по дороге в Гжатск, когда Юрий сворачивал с большака и которые решительно ничем не отличались от предыдущей дороги; те полторы минуты, что приходилось пережить у спущенного шлагбаума, пока товарный состав протрусит мимо, возвращали его, кругосветного путешественника, гостя многих стран и народов, к первоначальному впечатлению бытия. Каждый куст, каждое придорожное деревце обретали свой голос и говорили на языке, понятном лишь им обоим.

ПЕРВЫЙ КЛАСС. ВОЙНА

На третьей от Солнца
планете
Была мировая война.

С. Бодренков

Кончался август. Рябины стояли красные как кровь. А кровь уже лилась неподалеку, только дети пока не понимали, что это такое.

У Юры была главная забота: собираться в школу. Слово «война», которое так всполошило взрослых, казалось ему непонятным и далеким. Даже телеги с беженцами, а потом и отряды отступающих красноармейцев — все это безрадостное копошение на дороге захватывало его тогда меньше, чем две новенькие тетрадки в косую линейку и обязательная для первоклассника чернильница-невыливайка. Наивная логика ребенка подводила к тому, что и война должна кончиться непременно

но ко дню первого сентября. Просыпаясь и засыпая под приближающийся гул артиллерийского обстрела, видя, как от подземных толчков сухо ползут струйки песка с потолка, он продолжал жить в своем собственном маленьком мире.

Старший брат запомнил, разумеется, больше. Он пишет, что у них в избе иногда целыми семьями останавливались на ночлег беженцы. Это были ошеломленные и словно пришибленные тем непонятным, что на них обрушилось, люди. Юре они казались бледными тенями — к вечеру появлялись, на рассвете исчезали. Сменяли друг друга, но испуганное выражение серых лиц оставалось у всех одинаковым. Война еще только началась, но уже стали приходить первые похоронные: на соседа Ивана Даниловича Белова, на председателя колхоза Кулешова...

Из Клушина на фронт ушло семьдесят шесть человек. А когда в 1967 году гжатский военком Арюсков приехал вручать боевые юбилейные медали, то пришли за ними всего несколько человек: Василий Колоколов, Илья Серов, Афанасий Давыдов, прыгавший на костыле, Иван Степанович Белов, Василий Федорович Бирюков да Прасковья Колоколова. «На грудь вот беру, — сказал Белов, — а в груди осколок невынутый». Но кто-то выкрикнул, что, мол, русское воинство не стареет, и коль вновь позовут, то и у них еще сил хватит.

Все это мне рассказывал потом Василий Федорович Бирюков. Лицо у него живое, с лохматыми бровями и аккуратными усиками на верхней губе. Если что и выдает сегодня его возраст, то лишь походка: «Раны заросли, а контузия дает о себе знать, ноги плохо ходят».

Василий Федорович говорил охотно; он гордится своим селом, в которое вложил жизнь. Клушино для него не малая точка районного масштаба, а целый мир.

Его концы — Околица, Смирновский, Царапкинский, Выползово — подобны странам света.

Рассказал он и как Павел Иванович Гагарин, один из наиболее уважаемых сельчанами людей, при известии о боях под Вязьмой взялся перегонять колхозный скот. Никто не знал тогда, что путь будет бесконечно далекий, аж до лесной, почти никому не ведомой до того Мордовии...

Поздно вечером Павел Иванович забежал попрощаться с семьей брата. Самого Алексея Ивановича он не застал: за несколько дней перед этим тот тяжело заболел, с бредом, с лихорадкой, и его отвезли в гжатскую больницу. Анна Тимофеевна каждый день пешком ходила проводить мужа. Она не могла решиться бросить его одного, чтобы бежать с детьми. Поэтому с деверем прощалась как бы навсегда: как знать, удастся ли еще свидеться?..

И все-таки первого сентября Юрий Гагарин пошел в первый класс!

Из его тогдашних одноклассников в селе остались двое: Евгений Яковлевич Дербенков и Иван Александрович Зернов, оба механизаторы, отцы семейств.

У Зернова синие глаза, голос басовитый, веселый, улыбка открывает розовые десны, волосы русые, густые, шапкой ото лба. Он такой дюжий, дородный, что, кажется, кроме трактора, что его и выдержит?

Дербенков тоже голубоглаз, но более тонкокостен, мягок, приветлив. Он чуть картавит, и сквозь взрослый облик минутами явственно проглядывает былой школяр. Зернова же ребенком представить просто невозможно. Так и кажется, будто он возник мощным мужчиной, без переходных стадий.

Оба очевидца поставили в тупик с первых слов: они начисто забыли, где располагалась их первая, сгоревшая потом школа! Зернов водил на один конец села, а

Дербенков в противоположную сторону. Припоминали детали: кто за какой партией сидел, даже что было видно из окна, но место забылось. Впрочем, особенно спрашивать с них нечего, ведь они едва выучились писать первую букву алфавита, как все вокруг переломилось, катастрофически сдвинулось и смешалось. Клушино заняли немцы. К старинной летописи прибавилось третье разоренье — 1941 года.

Незадолго перед этим произошло событие, очень важное в биографии Гагарина: будущий летчик и космонавт впервые увидел самолет, прикоснулся к нему руками.

По ночам он просыпался оттого, что рядом мурлыкал кот. И все громче, громче, стены тряслись от такого мурлыканья! А это летели на Москву немецкие бомбардировщики. Просто Юра не мог полностью очнуться.

Но однажды днем прямо над крышами закружили, вернее проволоклись, по небу, два советских самолета. Взрослым Юрий Алексеевич определил их марки: Як и ЛАГГ. ЛАГГ был подбит и из последних сил тянулся за черту домов, на болото.

Как ни мгновенно все это произошло, быстрогого племя мальчишек успело домчаться до места падения как раз в тот момент, когда самолет разломился надвое, а летчик едва успел выскочить из-под обломков. Он прихрамывал и был очень рассержен своей аварией. Не обращая ни на что внимания, обошел искалеченную машину, осмотрел, пощупал ее. Нет, ничего поделать тут уже было невозможно. Летчик ругался и безнадежно смотрел в пустое небо. Вскоре оно наполнилось ревом «ястребка»: на выручку возвращался Як. Сумрачное лицо молодого летчика осветилось, он сорвал шлем и замахал им в воздухе.

«Мы жадно вдыхали незнакомый запах бензина, — вспоминал потом Юрий, — рассматривали рваные про-

боины на крыльях машины. Летчики говорили, что дорого достался фашистам этот исковерканный ЛАГГ. Они расстегнули кожаные куртки, и на гимнастерках блеснули ордена. Это были первые ордена, которые я увидел».

Оба летчика выглядели деловитыми и собранными; как ни мал был тогда Юрий, он ощутил в этих людях особую сноровку, манеры, отличные от деревенских и невыразимо пленительные для него.

Те первые летчики улетели благополучно. Мальчишки притащили им четыре пустых ведра и помогли перетаскивать бензин из бака подбитого самолета. Ночь летчики провели на болоте, не отходя от машины, а утром подожгли подбитый ЛАГГ и вдвоем поднялись на «ястребке».

Валентин Гагарин пишет, что до слез было жалко смотреть на горящие обломки.

Уже гораздо позже, когда деревню заняли немцы, на глазах детей произошла и настоящая трагедия. Самолет летел из последних сил, упал, не долетев до Клушина; врезался носом глубоко в землю. Взлетело пламя. Летчика разорвало на три части; потом крестьяне подобрали его ноги в хромовых сапогах, туловище, голову, сложили в деревянный ящик, тайком похоронили.

Горящий самолет оцепили немцы. А когда они ушли, мальчишки, крадучись, уволокли парашют, разорвали его на лоскуты. Это рассказывал уже Женя Дербенков.

Немцы ворвались ранним утром. Анна Тимофеевна увидела сначала мотоциклистов, а мать Жени Дербенкова в четыре часа утра, в полутьме разглядела, что они тащат на прицепах лодки с грузом.

Ах, гагаринская изба, окна в пять стеклышек!.. Брызжет дождь в косую линейку, как в школьной тетради. Этими тетрадями, приготовленными столь заботливо к первому сентября, Юре пришлось больше любоваться, чем писать на них. Дождь... Осенний студёный дождь.

В избе пахнет керосином и дымливыми немецкими папиросами. Вся семья Гагариных сбилась в кухне; был дом свой — стал чужой.

«Ночь провели на огороде, — вспоминает Валентин Алексеевич, — подстелив солому и прикрывшись дерюгами. Мать плакала, обнимая Юру и Бориску. Утром отец, угрюмый, простуженно кашляя, сказал: «Землянку рыть будем. А то подохнем...»

Эта землянка, или, как ее стали называть по-военному, блиндаж, стала приютом надолго. Отец сколотил полату; тесно, но места хватило всем, даже приютили одинокую Нюньку с ее самоваром.

За два дня до немцев из Клушина хотели угнать колхозных свиней, но стадо прошло только семь километров. «Куда вы? — остановили их в деревне Трубино. — Ведь в Гжатске уже немцы!»

Погнали обратно, раздали по колхозникам. У Гагариных свинья вскоре опоросилась, и ее долго прятали в кустарниках. Они всегда были людьми долга: не свое, казенное имущество берегли.

Первые месяцы по ночам им все казалось, что если стрельба, то подходит Красная Армия. Но противоестественная жизнь длилась и длилась. Истожились те скудные запасы, которые удалось припрятать от прожорливых постояльцев. Теперь после уроков ребята бежали в поля, собирали траву: крапиву, лебеду, клевер. Матери сушили ее, толкли, пекли жалкое подобие лепешек...

Первые месяцы после оккупации Ксения Герасимовна упорно пыталась продолжать занятия. Хотя школа чуть не каждую неделю меняла место: то располагалась в доме у церкви, потом там, где ныне медпункт, а напоследок ютилась на краю села в избушке Зубовых. Но во дворе Зубовых немцы расположили конюшню, и когда приводили лошадей, то заодно немедленно выгоняли учеников.

— Какая уж тут учеба, — сказал с сокрушением Дербенков. — Колесо!

— Ну а Юра? — спрашивала я. — Что он тогда? Как?

Синеглазый великан Зернов разводил руками в мажуге.

— Так слушай, — ревел он. — Если б было детство как сейчас, может, больше помнил бы. А то жили под страхом, в голоде. Позабыть скорее — и с концом. Юрка? Знал бы я, что он станет космонавтом! А то парень как все. Узнали про полет, сначала и не поверили. Приехал в село, пожал наскоро руки: потом, говорит, ребята, потолкуем. А в двух словах — жизнью своей доволен, достиг, мол, чего хотел.

Да, вполне возможно, что зенит своей жизни Гагарин ощутил не в минуты высшего торжества, когда его принимали президенты и короли, считая за честь пожать руку; даже, может быть, не в ликующей Москве, осыпавшей цветами автомобильный кортеж, но именно здесь, в родной деревне, где людей не так-то просто убедить и растрогать.

Достиг чего хотел... Разве не скрыто и немного печали в сбывшихся мечтах, в надеждах, которые позади?

Однако обмолвился же Юрий среди деревенских дружков, теперь уже, как и он, взрослых мужчин, может быть, за столом в квартире механика Жени Дербенкова или над котелком рыбацкой ухи, когда сказали ему, что удивил он, брат, клушан, ой, как удивил, — уронил Юрий, позабыв осторожность, что и еще раз удивит, дайте срок, ребята...

Значит, не все надежды его исполнились, и не все мечты оставил он за плечами. Но о чем мечтал Гагарин, мы попробуем поразмышлять немного позже, когда он подрастет.

Пока ему восемь лет, и он бродит с ребяташками по лесу. Они забираются в пустые блиндажи, собирают немецкие бумажные мешки. Режут их на дольки, складывают стопой и сшивают в тетради. А чернила делают из отстрелянных разноцветных ракет — синие, зеленые, красные. Упрямы эти советские мальчишки и девчонки — хотят учиться наперекор «новому порядку»!

Иногда по землянкам и избам шла облава: искали партизан.

Но не только партизанское оружие страшило оккупантов в те дни. Против «нового порядка» фашистов в любом месте, где оставался хоть один русский, как трава из перепаханной почвы, пробивался прежний советский уклад.

Две оккупационные зимы тяжело легли на семью Гариных. Некий рыжий фельдфебель Бруно, заплечных дел мастер при немецкой комендатуре, расправлялся с провинившимися. За отказ выйти на работу был избит и Алексей Иванович. Несмотря на боль, он не раскрыл рта, чтобы не испугать Юру, который остался у крыльца комендатуры. Как-то Анна Тимофеевна вышла с косой на ржаное поле — весной его вскопали лопатами, пахать было не на чем — и хотела прогнать немецкую лошадь, которая топтала колосья. Фашистский солдат вырвал косу, полснул лезвием по ноге, Анна Тимофеевна упала, обливаясь кровью. Юра, не помня себя, швырнул в солдата комом земли. Тот замахнулся косой и на ребенка... В другой раз механик Альберт поддел маленького Бориску за шарфик и подвесил на сук. Мать сняла его полузадохнувшегося. Однажды зимой бабушка Нюнька собралась с Юрой в одну из окрестных деревень купить муки. На обратном пути их заverteла пурга; вместо дороги незаметно попали на снежную целину, выбились из сил и наверняка замерзли, если б не выручил проезжий мужичок. В этом эпизоде мне показались

знаменательными слова, которые обронил старший брат: «Юра упростил Анну Григорьевну взять его с собой. Настоял на своем». Да, Юрий подошел к порогу отрочества; у него начинал формироваться характер.

Клушино долго было прифронтовой полосой; последние дни сражение шло всего в восьми километрах. Это гвардейская дивизия генерала Стученко обходным маневром рвалась на Гжатск. Грохот артиллерийской канонады, надрывной гул авиации, зарево пожаров, вспышки разрывов — вот были дни и ночи клушан!

Немцы уходили мартовским заморозком, в ночь с субботы на воскресенье, накануне того дня, когда Юрию исполнилось десять лет. Ночь выдалась ясная, месячная; хорошо было видно, как меж высоких сугробов пробирался человек полтораэта в белых маскировочных халатах, кто на лыжах, кто с санями. Видимо, это отходил эрьергард минеров. И Алексей Иванович Гагарин, и соседский парнишка видали из-за угла, как становился смертоносным снег между их домами. Но Витька Белов по малолетству разглядел только блеск металла под месячным сиянием, а Алексей Иванович примечал расположение мин. «Отец вышел навстречу нашим и показал, где фашисты заминировали дорогу», — вспоминал потом не без гордости Юрий Гагарин.

О появлении советских разведчиков рассказывают многие. Можно подумать, что те заходили в каждый дом! Но ведь это было долгожданное и выстраданное событие. Никто не хотел чувствовать себя обделенным. Так и Юра Гагарин помнит, хотя была глухая полночь, их белые полушубки, изморозь на автоматах. Как дали закурить отцу, а мать поставила перед ними чугунок картошки. Правда, утром, усомнившись, он спросил, не приснилось ли все это во сне. Алексей Иванович отозвался уклончиво: «Я сам как во сне...»

Евгений Дербенков встретил передовых на улице

ранним утром, когда в Клушино от Дубков входил целый отряд. Трое в полушубках и с автоматами через плечо машут ему рукой, а он не подходит — научился бояться солдат! «Кто у тебя тут? Мамка? Веди нас к ней». Видел, как минометы приладили около ветлы и стали бить по немецким обозам.

А соседке Анне Алексеевне Беловой будто бы даже сказали: «Вы, околишные, прячьтесь в бункера, бой может случиться...»

Она азартно моргает желтыми ресницами; под ними подслеповатые глазки, которые видят плохо, а приме-чают все.

— Ночью окрестные села горели. Нас немцы не по-дожгли только потому, что хотели потиху удрать. На-ши-то шли со Столбова, а немцы на Пречистое отсту-пали. Через день, как погнали обозы, около моей избы остановилось двое саней, военврач водички зашел по-пить. «Как, — говорит, — мамаша, не болеете? Лекар-ство, может, требуется?» А я отвечаю: «Какое уж тут здоровье!»...

Анна Алексеевна сыплет словами, как пшеном из мешка, мелко и безостановочно. Будь у меня киберне-тические способности, уже к исходу первого часа я зна-ла бы истории всех близких и дальних клушан, их род-ственные связи и душевные качества. Про Юрушку вспоминает в общей канве, но с непременным оттенком благодарности:

— Юрушке не продлил бог жизни. А сколько добра людям вокруг сделал! И автобус теперь ходит, и строи-тельство у нас. Веришь ли, услышала утром по радио, — как колуном по голове! Чужой был, а дороже своего. Немного погода опять:

— Спасибо Юрушке: щепками на всю зиму за-паслась.

А щепки-то от домика-музея, который поставили те-

перь на месте прежней гагаринской усадьбы! Посмертное невольное переносится ею на недавно еще живого...

ОТРОЧЕСТВО

Немцы ушли. Гагарины перебрались из землянки в избу.

Утром Юра услышал протяжный звук, подумал, что идут немецкие машины, испугался и вдруг понял: мать поставила самовар! Он гудел попевая.

Изба была полупуста. Все вокруг носило следы заброшенности. Под старым ватыным, из красного сатина одеялом лежали только они с Бориской. Валентина и Зою немцы успели угнать в Германию. Правда, по дороге оба бежали, дождались Советской Армии, стали бойцами — Зоя ветеринаром при кавалерийской части, а Валентин в танке, башенным стрелком, — но обо всем этом в Клушине узнали намного позднее. Отец ушел служить нестроевым в гжатском госпитале. А когда фронт двинулся на запад, сторожил военные склады. Анна Тимофеевна с младшими сыновьями оставалась пока в Клушине.

Возвращалось прерванное детство. Довоенная школа сгорела, Ксения Герасимовна ютилась всеми четырьмя классами в двух комнатках попова дома. Помните священника Дмитрия Клюквина, которого «наладили» клушинские школьники во время революции? Так вот его дочь, одинокая старая дева Вера Дмитриевна, и была хозяйкой уцелевшего домика, в котором читать учились по «Уставу пехоты», а на арифметике манипулировали гильзами от патронов.

Женя Дербенков рассказывает:

— После уроков приходилось помогать матерям в колхозе. Юра часто пас телят, а я свиней. После немцев

говсюду было полно боеприпасов. Ходили мы в Вельковский лес с мальчишками, разряжали потихоньку снаряды. Как? А очень просто: сядем верхом на снаряд, в руках зубило, молоток, бьем, потом отвинтим головку. Как-то на плесе решили взорвать. Кроме меня, в этой затее участвовали Юра Кулешов, Коля Белов, Юра Гагарин и Толя Гольцов. Насыпали полную фуражку пороху... Удивительно, как уцелели! Жили голодно, трудно, подкармливали нас на солдатской кухне, пока стояли войска. Но все равно мы были счастливы!.. Как Юрка учился? Все быстро схватывал. Идет контрольная, он едва вопросы переписал, как уже и сдает. По литературе тоже — раз прочел и помнит. Мать его Анна Тимофеевна бранилась: «Да сядешь ли ты заниматься как все дети!»

Позже Алексей Иванович разобрал избу и перевез сруб на окраину Гжатска, на улицу Ленинградскую.

Я разговаривала с теперешним завучем той школы, где проучился первую зиму Юрий Гагарин. Геннадий Тимофеевич человек молодежавый, подвижной, с отработанной дикцией. Гагарина в детстве он, конечно, не знал. До полета видел несколько раз на улицах: «Вон, — говорят ему, — летчик идет, наш ученик Юра Гагарин». Это не очень останавливало внимание: из каждого маленького русского городка вышли свои летчики, инженеры, артисты, а из некоторых даже писатели или заместители министров.

Но в день полета, когда Геннадий Тимофеевич сидел у себя над делами и услышал сообщение по радио, он первым помчался на Ленинградскую улицу, в домик Гагариных, где не застал родителей, а лишь маленькую племянницу Тамару, которая училась у жены Геннадия Тимофеевича. Тамара дала ему Юрины грамоты и кни-

гу Степана Злобина «Степан Разин». Насчет гармошки за- сомневалась: отдавать или нет? А через полчаса приехал человек из Смоленского музея и увез эту гармонь...

Юрий вернулся в Гжатск уже героем. Их познакоми- ли. Гагарин стеснялся, он казался вообще очень застен- чивым. Когда во время встречи в одной школе его ста- ли звать в другую, он повел глазами на свою учительни- цу: «Как Елена Федоровна скажет?»

РАССКАЗ УЧИТЕЛЬНИЦЫ. ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

...Вошла пожилая женщина, румяная, улыбающаяся, седые волосы прибраны под голубым газовым платоч- ком. И так шел к ней этот незабудковый цвет, такая она была добросердечная, излучающая спокойную ласку, что не улыбнуться ей в ответ было просто невозможно.

Елена Федоровна Лунова. Учительница. Всего не- сколько лет как на пенсии. Скучает? Да нет. В интернат к своим ребятишкам ходит. И вообще все вокруг свое, знакомое. И на учительские конференции ее пригла- шают...

Семью Гагариных знает издавна, можно сказать, с детства.

— В пятидесятые годы, — говорит Елена Федоров- на, — стала я заведовать начальной базовой школой при педучилище. По-моему, это была очень интересная и полезная форма: студенты училища имели свою школу. Они часто давали уроки и вообще привыкали к ребя- там, присматривались к труду педагога. Ведь чтоб быть учителем, надо иметь талант. И чем раньше узнаешь про себя — есть он или нет его, — тем лучше для своего будущего. Мы и учителей потом старались под- бирать из лучших выпускников.

В это самое время иду я как-то по улице и вижу как

будто знакомое лицо. «Ты ли это, Нюра?» Мы с ней обнялись. Оказывается, она с детьми недавно сюда переехала. Жили еще в землянке, но уже перевезли сруб из Клушина и собирались ставить свой домик на новом месте. «Я к тебе, Елена Федоровна, своих двух младших приведу. Ты уж их, пожалуйста, возьми». Я ответила: «Приводи».

И вот на другой день Анна Тимофеевна приводит двух мальчиков-погодков: Юрку и Бориску. Смотрю на старшего. В сером костюмчике: мать перешила из своей старой хлопчатобумажной юбки. Потупился, а глаза плутоватые, быстрые. «Ты его в хорошие руки передай, — просит Анна Тимофеевна, — чтоб не забаловался». Младший на вид был поспокойнее, попокладистее. Он пошел во второй класс, а Юра в третий. Там Нина Васильевна преподавала, наша выпускница. Вот она уж учитель, как говорится, милостью божьей! Никогда голоса не повышала, не сердилась, а слушали ее ребята раскрыв рты, так им было интересно.

Все у нас в школе тогда было еще самодельное. Вместо парт столики, а перед ними на двух чурбаках доска-скамейка. Мальчишки иногда выдирали гвозди, которыми доска держалась на чурбаках, и вдруг посреди урока — бух на пол! Тут уж не обходилось без Юры Гагарина. Он был мальчишка подвижной, шаловливый. Но передалась ему и матвеевская деликатность, мягкость характера. Помещение у нас было маленькое, сидели по трое. Сначала Нина Васильевна посадила Юру в глубине класса, но скоро поняла, глаз с него спускать нельзя. Если и не озорничает, то достанет потихоньку из стола книгу и смотрит себе в колени, читает. Читал больше старые журналы; что попадалось под руку. Перевели его на ближнюю парту. И помню, вместе с Пашей Дешиным сидела с ними третьей такая маленькая девочка Анечка, самая крошечная в классе, ее легко

было обидеть. Но Юра ее оберегал, провожал до дому — им в одну сторону было идти, — и даже раза два я видела, что несет ее сумку с книгами. Сумки были матерчатые, матери сами шили. У нас вообще в школе не существовало антагонизма между девочками и мальчиками, все дружили. Но даже и на этом фоне Юра относился к маленькой Анечке трогательно.

Возле школы бомбой разбило здание, и после уроков школьники разбирали его по кирпичу. Младших ставили на конвейер, старшие грузили. Стоят эти малыши, как муравьишки, цепью и по крошке, по песчинке, гору разбирают. «Посмотрите, — сказала потихоньку Нина Васильевна, — как Юра Гагарин о своей подшефной заботится».

В самом деле. Стоят Паша и Юра, а между ними Анечка; если кирпич побольше, они его друг другу передают мимо нее.

Но огорчений с ним тоже хватало. Уже когда он стал нашим депутатом, как-то спрашивает: «Елена Федоровна, какая у вас пенсия?» Я отвечаю: «Пятьдесят восемь рублей. Мне начисляли еще до повышения зарплаты учителям». — «Несправедливо, — отвечает. — Один я портил вам нервов на сто рублей в месяц. Это надо исправить». Разговор у нас был за два месяца до его гибели.

Вообще, я его взрослым не очень вспоминаю. Как-то он остановил меня на улице уже в форме летчика. «Вот, познакомьтесь, это моя жена. А я очень изменился?» — «Конечно, Юра, — отвечаю. — Ты теперь взрослый, офицер, и выглядишь как полагается офицеру Советской Армии. Тебя уже и называть нужно Юрием Алексеевичем». На это он засмеялся. Он с детства очень хорошо смеялся: искренно, радостно. За такую улыбку ему все шалости простишь в душе.

Третий и четвертый классы текли у Юры Гагарина с

переменным успехом: он получал четверки и пятерки, а иногда ему выговаривали за то, что он не приготовил урока.

Как-то Нина Васильевна, тогда еще совсем молодая учительница, едва переступив порог классной комнаты, попросила Елену Федоровну пойти с нею к Гагариным. Она жаловалась, что Юра совсем запустил грамматику, не учит правила, а сегодня при практикантах опять оконфузил ее. Вместе с расстроенной Ниной Васильевной они пошли чуть не через весь город к дому Гагариных.

Дом еще только строился. Отец был на стропилах, а мать вышла навстречу очень встревоженная.

— Ну, что он набедокурил?

— Ничего особенного. Просто не учит уроки. Сегодня правила по грамматике не знал.

Юра стоял тут же неподалеку за маленьким верстачком, стругал какие-то планки. Он потупился и, глядя на босые ноги, упрямо пробормотал, как и всякий бы другой мальчишка на его месте:

— Я только один раз не выучил.

— А вчера, Юра? — мягко сказала Елена Федоровна. — А позавчера? А ведь мы тебя готовим в пионеры!

— Так вы с ним по-своему и поступите, — сказала в сердцах мать. — Жалеть не надо.

— Нет, — возразила Нина Васильевна, — лучше уж сами понаблюдайте, чтоб Юра готовил уроки.

Анна Тимофеевна сокрушенно покивала головой.

— С домом мы с этим занялись, выпустили его из рук.

В глазах Юры блеснули слезинки, которые, впрочем, тотчас и высохли. Особенно когда Елена Федоровна поинтересовалась, что это он стругает.

— Это будет самолет, — радостно ответил Юра. —

Очень большой и очень быстрый. Больше того, что сби-ли над Клушином.

С этим Юриным самолетиком произошла затем вот какая история. Как-то по школьному двору вдоль пали-садника прогуливался в перемену дежурный член роди-тельского совета Федор Дмитриевич Козлов, по профес-сии техник-строитель, человек общительный и смеш-ливый.

(К слову, везде, где бы Елена Федоровна ни учи-тельствовала, школу окружал цветник. Один корреспон-дент даже написал о ней перед войной очерк под загла-вием «Цветущая школа», что звучало не очень грамо-тно, но, видимо, от чистого сердца. И перед базовой школой палисад переполняли пионы — самые пышные цветы начала лета.) Козлов не ждал беды, когда откуда-то сверху, может быть с неба, а вернее из окон третьего этажа, на него свалилось что-то достаточно увесистое. Это оказался самодельный самолет.

Елена Федоровна уже догадалась, чей он, и вошла в четвертый класс вместе с потерпевшим. Все дружно встали и открыто, в сознании собственной невинности, со спокойным любопытством смотрели на вошедших. Одна только пара глаз упорно не поднималась от пола.

— Ну, что ж, ребята, — начала Елена Федоровна, — вы ушибли Федора Дмитриевича, а могло случиться еще хуже. Просто не знаю, как теперь и быть! Не могу да-же представить, кто из вас мог принести в школу этот самолет? А главное, бросить из окна. Самолеты надо испытывать в поле, на ровном месте. И если это хоро-ший самолет, то он полетит вверх, а не вниз.

Козлов поддакивал:

— Будь он чуток побольше, у меня на голове полу-чилась бы целая рана!

Тогда Юра не выдержал, вышел из-за парты.

— Это мой самолет, — прошептал. — Простите.

Ему сделали еще несколько упреков, а когда собрались уходить, он догнал Елену Федоровну, тихо спросил:

— Вы отдадите мне его?

Елена Федоровна замялась.

— Знаешь, Юра, лучше пусть останется у нас в учительской. Это ведь модель, ее надо поберечь.

Юра вздохнул: ему было так жалко своего самолета!

А потом у Елены Федоровны случилось несчастье. Прележав год у родных в Сибири, к ней пришло запоздалое извещение о гибели единственного сына.

В четвертом классе в этот день студент педучилища проводил беседу о красном галстуке. Ребята слышали обо всем этом впервые. Они были целиком захвачены: пионерский галстук, оказывается, часть знамени Революции!

Слезы душили Елену Федоровну. Она вспоминала своего сына таким же маленьким. И тот день, когда он впервые надел красный галстук, и как он был смущен, горд: шел, косясь на свою грудь.

Она отошла к окну, отвернулась от класса и закрыла глаза рукой.

Когда она очнулась, урок уже кончился, а в двух шагах от нее стояли Юра Гагарин и Паша Дёшин.

— Я знаю, почему вы плачете, — сказал Юра со своим обычным открытым искренним видом. — У вас убили Валю. Жалко, что он был танкист. А если б он стал летчиком, то обязательно улетел бы от врагов и спасся. Ведь самолет такой быстрый! Самолет быстрее всего на свете.

— Ну нет, — возразил Паша. — Танки тоже очень большие и быстрые. На танке можно умчаться куда хочешь.

— Что ж, по-твоему, танк обгонит самолет?!

— А может, и обгонит, — упорствовал Павлик.

Начинался обычный мальчишеский спор с неизбежными преувеличениями и желанием уязвить друг друга.

...Как выглядел тогда Юра Гагарин? Сохранилась групповая фотография. В первом ряду с напряженными лицами сидят четыре учительницы — руки на коленях, накладные плечи, сумочки в сжатых пальцах, волосы по тогдашней моде зачесаны от висков вверх. Александра Ивановна Жигунова, Нина Васильевна Лебедева-Кондратенко, Елена Федоровна Лунова и Валентина Евгеньевна Болобонова. Во втором ряду, между Алей Слапик и обритым наголо здоровяком Пашей Дёшиным, ниже его на голову, с пионерским галстуком, выбившимся из-под ворота на левое плечо, стриженный под машинку, с прямым и веселым взглядом, со смешливо приподнятыми уголками губ, — ученик четвертого класса базовой школы Юра Гагарин. Последняя в том же ряду, мелкая, как дошколенок, в цветастом платице и белых шерстяных носках на голых загорелых ножках, прижмурившись от солнышка, с пушистым цветком в руке — его подшефная Анечка, фамилию которой так никто и не смог припомнить.

Мне захотелось побродить по старинному зданию, где учился Юра. Базовой школы давно там нет, осталось педучилище. Именно в этом доме, некогда принадлежавшему купцу Верентинovu, 29 августа 1812 года останавливался Кутузов по пути в Царево-Займище. О ночлеге фельдмаршала напоминает мемориальная доска. О том, что здесь учился также и Гагарин, напоминания пока еще не было.

— Движение времени определяется детьми и деревьями, — сказал Николай Сергеевич Александров, зауч педучилища. — Вот липы, которые сажали при Юрии.

Мы шли по маленькому густому саду. Странно поду-

мать, что, когда в 1945 году Николай Сергеевич вернулся из эвакуации, здесь были только воронки от бомб. Да и само здание не взлетело на воздух чудом: какой-то мальчик влез в подвал и перерезал провод к часовому механизму мины. Все окна тогда были заложены кирпичом; на втором этаже сквозные дыры от снарядов. Очень холодно; дрова возили из леса сами на старой колченогой лошади, которую сын директора Владик — ныне Владислав Николаевич, кандидат наук в Обнинске, — прозвал «Обгону-всех». Дров было так мало, что девушки прятали полешки под подушками, а утром несли в класс и во время лекций по очереди грелись у печки («Да наденьте вы тоже шапку, Николай Сергеевич!»). Электричество не горело, освещались коптилками. Вечером каждая девушка шла в классную комнату со своим огоньком, как монашка со свечой.

Весной решили скосить крапиву на пустыре, посадить помидоры. Когда стали расчищать двор, в ямах нашли много заскорузлых бинтов, оставшихся от фронтового госпиталя (видимо, при нем и работал отец Гагарина). Бинты подождли; раздался взрыв. Думали — патрон. Но оказалось, что поблизости, едва присыпанные землей, лежат сто снарядов... На мины натыкались еще и спустя десять лет.

Николай Сергеевич отомкнул класс, где когда-то должен был заниматься Юрий, — большую комнату с четырьмя высоченными окнами и чуть не пятиметровым потолком. В одно из этих окон упорхнул самолетик, сбитый из планок и щепочек... Николай Сергеевич вздохнул и помрачнел. Мы молча присели за парту.

Слава не утешает, если человек погиб. Будь все земляне знакомы между собой, они бы ценили подвиги еще дороже! От друзей хотят одного: чтобы те жили. Необыкновенный поступок хорошо накладывается лишь на чужого. Близкому он всегда не по мере: из-под подвиг-

га выглядывают просто руки и просто глаза — то, что незаменимо. Нет, подвиг не утешает, если человек погиб. Так и гжатчане живут неутешенными.

Пятый и шестой классы Гагарин учился уже в средней школе, одной на весь разбитый город. Нынче это просто жилой дом на Советской улице, дом 91. Первый этаж оштукатурен, второй бревенчатый, внутри скрипучая деревянная лестница. После ремонта многое переделано, даже окна поднялись повыше, а тогда они были низко, у самой земли. Два угловых окна — в бывшем пятом классе, где ботанику преподавала Елена Александровна Козлова. Она и привела в этот дом. Мы постучались в квартиру Черновых. Под любопытными взглядами двух девочек прошли на кухню, оклеенную синими обоями, остановились возле плиты... Елена Александровна показала на угол, где была сквозная дыра во двор: мальчишки совали в нее палку. Доска висела на стене, где сейчас буфетик. Перед доской располагались парты в три ряда; в среднем ряду сидел Юра Гагарин с Валею Налетовым, как ей помнится.

— Это был самый теплый класс. Солнце светило в окно весь день, — сказала Елена Александровна.

После сорока пяти минут тесноты, когда учитель и то проходил бочком к своему столу, а ученики сидели вовсе локоть к локтю, на перемену все выбегали во двор. Ранней весной старшеклассники после уроков запрягали коня Кобчика и ехали в лес за голыми озябшими топольками — их высаживали в школьном дворе.

— Пойдите, когда же это было? Двадцать лет назад! Почти как у Дюма.

Елена Александровна переходит от дерева к дереву. Да, деревья, как и дети, быстро растут!

Юра ей запомнился приветливостью. Исполнительный

веселый мальчик. Очень активный по натуре: на вечерах декламировал стихи и участвовал в драмкружке, пел в хоре, играл в школьном оркестре на трубе. Его белая рубашечка и красный галстук так и стоят перед глазами... Конечно, если бы знать заранее, что получится из каждого...

Я понимаю желание учителей спустя двадцать лет после того, как Юрий сидел за партой, представить эту парту неисцарапанной, неизрезанной, а самого Юрия тем идеальным учеником, по которому извечно тоскует педагогическая душа. Преподавательница вспоминает его в белой рубашке, с повязанным пионерским галстуком...

А между тем я сомневаюсь, чтобы он приходил в школу каждый день одетым столь тщательно. Семья Гагариных бедствовала на разоренной войной Смоленщине. Отец пробовал разные заработки, а сыновья, случалось, ходили с военной санитарной сумкой по пустым полям, собирая прошлогодний картофель. Наоборот, более естественным представляются заплатанные курточки и стоптанные башмаки.

Алексей Семенович Орлов, собиратель истории Гжатска, старшая дочь которого училась в той же единственной тогда средней школе, покачал головой:

— Нет, конечно, он не был «розовым мальчиком». Он был живой и очень подвижный паренек. У нас по-местному, по-смоленски, таких называют «сбродник».

— Колобродник?

— Вот именно.

А Наташа, его дочь, сказала:

— Мы жили школой. У нас так мало было радостей вне ее. В семьях ютились скученно и голодно. Не знали мы тогда ни театров, ни телевизора. Проходили Островского, а не видели на сцене ни одной его пьесы. Никто из нас не бывал даже в Москве, хотя она под боком,

всего-то несколько часов поездом. Но нам не на что было ездить... Я до сих пор люблю своих учителей: они старались скрасить наше скудное детство. Хотя мы сами вовсе не ощущали его таким! После уроков мы сдвигали парты — собственно, это были просто узенькие, плохо струганные столики — и заводили патефон. Так часами слушали музыку или, под патефон же, танцевали. Не то что зала, даже коридора в школе не было. Только сенцы, лестница и тесные комнатенки классов. А мы не уходили из них! Без конца устраивали какие-то выставки, клеили альбомы, готовили самодеятельные вечера.

Я подумала: вот откуда активность подростка Юры! Его душа так жадно стремилась всегда к светлым и действенным проявлениям жизни. И он декламировал стихи на вечерах, пел в хоре, даже играл на трубе — он тоже не хотел уходить из школы!

Наталья Алексеевна Орлова вспоминала, как она видела Гагарина уже в конце апреля 1961 года в Праге, когда он тотчас после своего полета приехал в Чехословакию.

Как его встречали! Машина ехала не по асфальту, а по цветам; они дождем летели на него из всех окон. Он был смущен и улыбался так благодарно, так застенчиво!.. А вечером в театре на гастролях вахтанговской труппы Наташа сидела в ложе как раз напротив. И опять горазилась простосердечию и естественности Юрия. Он находился посреди членов правительства, рядом с президентом, но выглядел так, как человек, который редко бывал в театре и полностью захвачен сценой. Он подавался вперед, глаза его горели, а в смешных местах громко хохотал от удовольствия.

— Я тогда тоже стала как бы героиней среди своих знакомых, — сказала Наталья не без юмора. — Ведь мы оказались не только земляками с Гагариным, но даже

учились в одной школе. Только я его, конечно, совсем не помню тогда: он ходил в шестой, а я уже в девятый класс. Я так и не решилась к нему подойти...

В шестом классе воображением Юры завладела физика. Вернее, преподаватель физики Лев Михайлович Беспалов. Все, кто его знал, отзываются о нем как о человеке, полном внутреннего огня, выдумки и энергии.

Вот как вспоминает об уроках Беспалова сам Гагарин: «Лев Михайлович в небольшом физическом кабинете показывал нам опыты, похожие на колдовство. Он познакомил нас с компасом, с простейшей электромашиной. От него мы узнали, как упавшее яблоко помогло Ньютону открыть закон всемирного тяготения... В школе мы организовали технический кружок. Сделали летающую модель самолета, раздобыли бензиновый моторчик, установили его на фюзеляж, смастеренный из камыша, казеиновым клеем прикрепили крылья...»

Это же самое время старшему брату Валентину Алексеевичу представлялось в несколько ином ракурсе: «Много хлопот у матери по дому... Юра поест побыстрее и принимается помогать. Вода кончилась — сходит к колодцу, дрова нужны — принесет вязанку. А особенно Юра с Борей любили в огороде копаться...»

Но, как каждый ребенок, и на уроках в школе, и в окружающем его быте, несмотря на всю свою ученическую прилежность и старательность по дому, Юрий выбирал из массы впечатлений те, которые были наиболее созвучны его внутреннему настрою.

Так позже потрясли и поразили его слова Циолковского о Земле как лишь о первоначальном обиталище человечества, о колыбели землян...

Заманчиво вообразить, что именно тогда он услышал в глубине существа как бы зов космоса и возмечтал сделаться космонавтом! Но это было бы совершенной

неправдой. Понятие «космос» тогда вовсе еще не стало обиходным. А слова «космонавт» не существовало вообще. Стремление оторваться от земли связывалось в те годы лишь с самолетом, и это были довольно мало-мощные, жалкие машины с нашей сегодняшней точки зрения!

Но и о летчицком ремесле Юрий мог размышлять лишь в плане обычных мальчишеских мечтаний, то есть в самых общих чертах. Он не слыл чрезмерно задумчивым подростком, из тех, что как бы грезят наяву и живут в собственном выдуманном мире. Для этого он был слишком активен и бодр. Он с благодарностью брал то, что ему предоставляла жизнь.

...Похожесть биографий можно объяснить тем, что особенность эпохи как раз и лепит тот или иной облик современника. Начальные шаги, истоки, очень схожи у многих выдающихся людей.

Так, Николаю Петровичу Каманину, — с которым Тагарин еще не встретился, но обязательно встретится! — кажется, что его жизнь проста и отлично укладывается между двумя или тремя десятками дат. От того дня, когда тишина маленького городка, где он родился, была в его памяти впервые взорвана длинным обозом мужиков-новобранцев, увозимых на фронты первой империалистической, воем их голосащих жен — и до вот этого дня, бесконечно отдаленного от начальной поры, уже в городке космонавтов, когда он сидел передо мною с седыми висками и с Золотой Звездой Героя на мундире. Одной из первых звезд, которые Калинин некогда надел на грудь спасателям челюскинцев.

Может быть, генерал авиации Каманин по-своему и прав: его судьба отнюдь не выходила из рамок эпохи. Но ему повезло родиться в России, когда эти рамки раздвинулись в ширину горизонта. Взрыв огромной си-

лы — революция — дал заряд человеческим сердцам на много лет вперед. Одно из таких сердец билось под холщовой рубашкой подростка Коли Каманина.

Революция в заштатных Меленках с их единственной ниточкой в мир — касимовской дорогой, по которой уходили на заработки и на войну, — началась тоже не очень громко. Социальные перемены озаменовались пока лишь тем, что отец, Петр Каманин, стал председателем сапожной артели — первого детища местной Советской власти. Но тиф унес отца так быстро, что в памяти младших он остался скорее именем, чем человеком. Из семерых сирот только старшему брату сравнялось шестнадцать. Возраст вполне достаточный, как ему казалось, чтобы уйти бойцом в Красную гвардию. И мать — удивительная мать! Даже одно ее имя вызывает у сына улыбку признательности и удовольствия, — мать отпустила старшего, как отпускала потом всех детей: кого в рабочие, кого в летчики.

— У нее был прекрасный характер: веселый, неунывающий. Лучшее наследство, частичку которого она передала и каждому из нас, — говорил Николай Петрович. — Мы работали много и тяжело с самых малых лет. Десятилетним я уже ездил на лошади в лес за дровами. А их надо было сначала нарубить, потом нагрузить. Косил траву для коровы, пахал и засаживал огород. И вот, когда мы садились за стол — буквально семеро по лавкам! — а перед каждым лежало только по картофелине с солью, мать смехом, прибаутками, своей легкостью и радостью умела превратить этот скудный обед в праздник. Спасибо ей! У нас было хорошее детство.

И такой же хорошей подготовкой будущему гражданину стал тогдашний «учком» — школьное самоуправление. Председатель ученического комитета восьмиклассник Каманин наравне со взрослыми заботился об

отоплении и освещении классов, о дефицитной бумаге, решал судьбу дебоширов и лентяев.

А вот как произошло его приобщение к авиации.

Неизвестно почему над Меленками среди бела дня пролетел самолет. Никогда прежде их здесь не видели.

Коля Каманин выскочил на порог и задрал голову. И это фантастическое сооружение, неуклюжая птица, ее волшебный полет под стрекотание мотора заставили мальчика из лесной срединной России замереть. Он был настолько поражен, что не успел даже ни о чем подумать. Сердце его сжалось и бесконечно долго оставалось в таком стиснутом положении. А когда наконец дыхание вернулось, аэроплан уже улетел...

Не правда ли, все это похоже и на детство Гагарина, на его первую встречу с самолетом, спустившимся на болотистый луг возле Клушина?

Размышлять о Космонавте-1 — это то же, что попытаться постигнуть его эпоху.

В жизненном пути Гагарина нет ничего мистического. Его предназначение едва ли было записано в книге судеб золотыми буквами, а добрые феи не наделили его еще в люльке талантами, способными всех изумлять. Его индивидуальность заключалась в том, что он был удивительно здоровой гармоничной натурой. Заповеди Советской власти вошли в него естественно, как воздух, которым он дышал. Они стали для него именно такими, какими они были по смыслу. И если другие выявляют себя в уединенном полете мысли, его душевный огонь искал своего воплощения в действии. Главными чертами натуры Гагарина всегда оставались настойчивость, оптимизм и работоспособность. А это и есть «составные части», соль души человека социалистического общества. Сначала черты общие, а потом обособленные, стянутые, как в фокусе, на одном имени, на одной судьбе.

ПОД МОСКВОЮ, В ЛЮБЕРЦАХ

Короткая жизнь Гагарина не была такой уж быстро-текущей для него самого. Судьба круто испытывала Юрия и нуждой, и преодолением страха, и всемирной — не выпадавшей дотоле ни одному человеку! — славой. Бездонными бочками восторга перед ним; миллионами обращенных к нему умиленных глаз, а также глаз испытующих, проверяющих ум его на твердость, душу — на благородство.

Думаю, что врагов у него в мире не было. Может быть, существовали тайные завистники, которым казалось — как это кажется завистникам во всякие времена, — что фортуна слепа и палец ее ткнул наугад. Подвиг, таким образом, уже как бы и не подвиг, а просто везенье, удачный выигрыш. И как жалко, что это не им, завистникам, повезло; чем они хуже? И так далее. И тому подобное.

Конечно, нельзя предположить, что Гагарин провидел свой подвиг сквозь размытую пелену лет и шел именно к нему, к подвигу, неуклонно и целенаправленно. Что все, что он делал и говорил, — еще одна монетка в копилку судьбы. И он якобы знал, для чего копил.

Однако и наивных случайностей в жизни выпадает не так уж много. Чаше они остаются незамеченными. Заметить — факт известной нацеленности зрения; одни люди замечают одно, у других внимание останавливает совсем другое. Случай сам находит человека? Может быть. Если человек достаточно к нему готов.

Летом 1949 года Юрий окончил шестой класс. Ничего радостного в этом окончании не было. Беззаботные школьные годы прерывались почти на половине. Он все больше понимал, что не суждено уже будет ему первого сентября пойти в седьмой класс и сесть за парту...

Семья Гагариных бедствовала. Деревенский домик, который в Клушине разобрали, а на окраине Гжатска поставили своими силами, состоял из кухни и двух тесных комнат; вторая была скорее боковушкой, чем отдельным помещением. А жило здесь восемь душ. Вернулись под родительский кров Валентин и Зоя. Зоя вышла замуж и родила дочь Тамару. Заработки у взрослых членов семьи были мизерными. Отец плотничал по найму в окрестных колхозах, часто с ним вместе надолго уходил и зять. Валентин работал монтером, но сорвался со столба и долго лежал в больнице с угрозой ампутации ноги.

Анна Тимофеевна почти уже не могла сводить концы с концами: покинув Клушино, она лишилась того собственного деревенского хозяйства, которое помогло ей растить детей и пережить войну. Хоть и сжималось ее сердце от тревоги за сына, ничего другого, как отправить Юрия в Москву, к дяде Савелию, придумать в семье не могли.

Савелий Иванович Гагарин, пожалуй, больше всех других братьев преуспел на жизненном поприще. Рано покинув деревню, он многое узнал, многому научился. И занимал видные должности, особенно по клушинским масштабам. Так, одно время был даже заместителем директора по хозяйственной части научно-исследовательского института. Женился он еще в Клушине на Прасковье Григорьевне Сидоровой, родной сестре той самой бабки Нюни, которая поила Юрушку чайком, а потом вышла навстречу с бумажным голубем.

Вот сюда-то к Савелию Ивановичу и Прасковье Григорьевне — на 2-ю Радиаторскую улицу, дом номер два, квартира четыре — и явился июньским утром их гжатский племянник в только что купленном на последние деньги дешевеньком пиджачке и чистой сорочке, отглаженной матерью со скорбной старательностью.

Савелий Иванович работал тогда в строительной конторе. Он попробовал было разузнать о ремесленных училищах именно своего, строительного, профиля. Но с каждым днем Юрины шансы все падали: набор повсюду был уже окончен.

Так в унылом ожидании прошло больше недели, пока дело не взяла в свои руки старшая дочь Савелия Ивановича Антонина, самый энергичный член их семьи.

Антонине было тогда двадцать пять лет. Она жила с мужем Иваном Ивановичем Ивановским и трехлетней дочерью Галей на Сретенке, по Ананьевскому переулку.

Первым делом Антонина перевезла Юру к себе. Они поднялись на второй этаж, отомкнули дверь коммунальной квартиры, прошли в четырнадцатиметровую комнату супругов Ивановских — и тут только Антонина хорошенько разглядела своего двоюродного братца, судьбу которого взялась устраивать.

В родительский дом она влетела как вихрь, сто слов и все с укоризной: зачем время тянули? Ведь сейчас день потерять, что целый год в Юркиной жизни. Но у себя дома примолкла, села в стороне, по-бабьи жалостливо разглядывала его. Он был щуплый и малорослый, совсем не по годам. И какой-то очень уж беленький, по-детски чисто умытый, ребячливо смущенный в своей отглаженной рубашке.

Шариком подкатилась Галка; он принялся с ней играть, да так ловко, так самозабвенно, будто всю жизнь нянчил маленьких или сам еще не вышел из детства.

Вернулся Иван Иванович. Предупрежденный женой по телефону, он наводил справки уже в своей, металлургической, отрасли.

— Пусть продолжит нашу Ивановскую династию ме-

таллургов, — пошутил, тоже с сомнением бросая незаметный взгляд на приезжего мальчугана. — В следующем году и поступит.

Действительно, сделать было уже ничего невозможно: в Москве экзамены повсюду прошли.

— Но он не может вернуться в Гжатск! — горестным шепотом сказала жена.

— Тогда остается ремесленное училище в Люберцах. Может, там повезет, — отозвался не совсем уверенно муж.

— Поедем завтра же, — решила Антонина.

По дороге в Люберцы, слушая, как стучат колеса электрички на стыках рельсов, глядя в толстое стекло, Юра и не знал, что сделал первый шаг в свою собственную историю. До этого жизнь его текла по определенным канонам, но решение приехать в Москву было первым его собственным решением.

Впрочем, тогда еще ни Юра, ни его двоюродная сестра, ни дядя, ни директор РУ никак не могли и предполагать, в какую историю вступают они вместе с этим провинциальным мальчуганом.

Поначалу все складывалось безнадежно скверно.

Перед ремесленным училищем Антонина почти с ужасом увидела толпу дюжих горластых парней, гонявших по двору футбольный мяч. Все они были соискателями.

Сестра оставила Юру в стороне и с бьющимся сердцем, но с внутренней отвагой и гагаринским фамильным упрямством вошла в здание.

Завучем оказался сероглазый человек, чуть старше самой Антонины. Между ними немедленно протянулись нити понимания. Они заговорили дружелюбно, с тем контактом, который так легко возникает в молодости.

— Я привезла к вам своего брата, — сказала она. — Он из Гжатска. Кончил шесть классов.

— Невозможно! — огорченно отозвался завуч. — У нас огромный наплыв. Большинство с семилеткой, есть даже после восьми классов.

— Но я не могу отсюда уйти! — воскликнула Антонина. — Поймите, от вас одного зависит все его будущее.

И горячо, почти вдохновенно, как случается в решительные минуты, она стала рассказывать обо всей короткой Юриной жизни в прифронтовом Клушине, о страшном немецком постое и теперешнем скудном существовании большой гагаринской семьи.

Завуч слушал с грустным пониманием. Большинство мальчишек за окнами обладали сходными биографиями.

— Вот что, — сказал он вдруг. — Через полчаса экзамены. Пусть ваш брат поднимается на четвертый этаж. Я внесу его в список. Как, вы сказали, его фамилия?

Антонина выбежала, не чуя ног.

— Скорее, Юрка, скорее! — И внезапно охнула: — Но ты же не готовился! Экзамены прямо сейчас.

— Тоня, не волнуйся, — вполголоса твердил он, пока они поднимались по лестнице, и заглядывал ей в лицо с нижней ступеньки, потому что она бежала впереди него. — Конечно, сдам. Не боюсь я никаких экзаменов. Я все знаю, ты успокойся...

Четыре часа, пока Юра писал сочинение и решал арифметические задачи, Антонина бродила вокруг дома.

— Задачки сошлись с ответом? А какие были слова трудные? Как ты их написал? Мягкий знак не забыл? — она тормошила его.

Он же повторял, как прежде:

— Да все хорошо, Тоня. Ты не беспокойся.

Антонина вторично отправилась к завучу. Тот просмотрел только что поданные ему списки.

— А знаете, ваш брат действительно очень хорошо сдал. «Четыре» и «пять». Мы его принимаем. Но общежития дать не могу. Все койки уже заняты. Попробуйте устроить у местных жителей. В прошлом году наши ученики снимали там углы.

Антонина и Юрий перешли железнодорожную линию, постучались в самый первый дом. Открыла старуха. Да, конечно, у нее жил ремесленник. И занимался тут, и спал. Тихий прилежный постоялец (она испытующе скользнула глазами по пришедшим). У нее очень хорошие условия, почти что отдельная комната. Берет недорого: всего двадцать пять рублей в месяц.

«Почти отдельная комната» оказалась тесным чуланом без окна, отгороженным грязной ситцевой занавеской. В чулан вмещались только раскладные козлы с соломенным тюфяком да больничная тумбочка, заменявшая и стол и шкаф. Лампочка малого накала болталась на шнуре.

Антонина оглядела этот затхлый закуток и за руку вывела брата на вольный воздух. После нескольких неудачных попыток они вернулись в училище. Третий раз за день Антонина постучалась к завучу.

— Ведь он не сможет платить даже одного рубля, поймите. Как-нибудь, хоть в коридор, поставьте кровать.

— Некуда. Не могу!

— Тогда... все равно зачисляйте! Будет у меня в Москве жить.

Завуч открыл было рот, чтоб отвергнуть и эту возможность... Но Тонины карие глаза так упрямо сверкали, а гладкие упругие щеки так ярко пламенели, что молодой человек только вздохнул и улыбнулся. Рука его сама собою потянулась к перу. «Явиться на занятия 25 августа», — написал он на бланке.

— А если для меня не будет койки? — совестливо

бормотал Юра, когда они уже вечером возвращались обратно в электричке.

Антонина бесшабашно махнула рукой.

— Да забудут тогда все уже про твою койку! Приезжай пораньше и занимай любую.

...Спустя двадцать лет ко мне постучался нынешний завуч Люберецкого ремесленного училища Владимир Ильич Горинштейн. Я знала, что он работал там и в гагаринские времена, и с нетерпением ждала его. Каково же было мое изумление, когда оказалось, что этот предстательный, седеющий мужчина и был тем самым молодым человеком, отчасти решившим судьбу Юрия! Между прочим, он решал ее дважды. Именно благодаря его уговорам Гагарин, уже окончив училище, поехал в Саратов, а не в Ригу, куда собирался. В Саратове же был аэроклуб, о котором случайно, на волейбольной площадке, узнал будущий космонавт.

Но об этом речь дальше.

Я исподтишка рассматривала своего гостя. Вся гагаринская жизнь, подобно удивительной комете, взошла над землей, набрала высоту, протянула свой сверкающий след по небосклону и погасла за эти двадцать лет, а Владимир Ильич по-прежнему продолжал учить мальчишек ремеслу, принимать их, неумелых, дерзких, ленивых, никак еще не определившихся в житейском круговороте, чтоб через два-три года отправлять в путь с дипломами, с профессией, с мастерством в руках...

Менялись времена, менялись поколения. Сам облик учеников становился совсем иным. Если в первые послевоенные годы ремесленные училища были формой активной помощи государства осиротевшим семьям — детям требовалось заменить отцов-кормильцев, воспитать их, выучить, вывести в люди, да и сами ребята, хлебнувшие лиха, стремились поскорее стать на ноги, то немногу обстоятельства вокруг менялись к лучшему:

раны военных разрушений затягивались, жизнь становилась сытнее, и в ремесленное училище стали попадать не те, кто и хотел бы учиться дома, да не мог, а юноши и подростки, искавшие, напротив, режима повольтонее, чем школьный.

И все двадцать лет, пока совершалась блистательная гагаринская судьба, Горинштейн оставался в Люберцах, не уставая разрушать дурацкое предубеждение все новых и новых юнцов против замасленных спецовок, против «черного» труда на заводе, против самого слова «рабочий».

Сообщество шестнадцатилетних, прежде чем стать коллективом, обязательно проходит период вольницы. Общежитейские спальни превращаются в ватаги; комната идет на комнату. Не избежали этого и однокашники Юрия. И хотя в книге «Дорога в космос» журналисты Денисов и Борзенко записали с его слов:

«Жили мы... в деревянном домике. Наша комната, на пятнадцать человек, находилась на первом этаже. Жили мирно, дружно. Во всем был порядок...» — видимо, Юрий Алексеевич удержал в памяти не процесс, а его результат. Случалось всякое, особенно в первый год. Даже скоропалительная «забастовка» из-за невыданных спецовок...

В психологии ребят перелом происходил не сразу. Ремесленник еще не рабочий, но уже и не школяр. Ровесники девятиклассникам, так же, как и те, сидящие за партами, они, однако, каждый второй день превращались в рабочий класс — пусть пока в самую тоненькую его веточку!

И хотя поначалу в цехе с конвейера, куда ставили начинающие формовщики, в том числе и Юрий, свои изделия, шел густой брак; хотя мастер к концу смены хватался за голову при виде перекошенных стержней в опоках — все-таки они делали что-то уже собственными

руками. Пальцы, недавно способные лишь держать ученическую ручку, становились со дня на день гибче, цепче, взрослее. А какой юнец не спешит стать мужчиной!

Да и первая получка, из которой половина тотчас была отослана Юрием в Гжатск, — разве это не наполняло его, как и других парнишек, внутренней гордостью и удовлетворением?

Завуч ремесленного училища наблюдал эти крошечные метаморфозы из месяца в месяц, из года в год все двадцать лет.

— Юра показался мне поначалу, — рассказывал он, — слишком хлипким, тщедушным. А вакансия оставалась единственно в литейную группу, где дым, пыль, огонь, тяжести... Вроде бы ему не по силам. Да и образование недостаточное: шесть классов. Мне сейчас трудно припомнить, почему я пренебрег всеми этими отрицательными моментами и что заставило все-таки принять Гагарина? Наверно, та целеустремленность, которой он отличался всю последующую жизнь; его желание учиться... Ну что ж, раскаиваться нам не пришлось. Случайно сохранилась ведомость за первую четверть: у него прекрасные отметки. Но был ли он особенным? Нет. Просто работающим, живым, обаятельным.

...Сознаюсь, из всех школьных друзей Гагарина больше всего в сердце мне вошел Александр Петушков, Саня Петушков.

Спустя двадцать лет я разыскала его дом. У самой трамвайной остановки, далеко от центра, за дощатым заборчиком открылся двор — такой миниатюрный, стиснутый будками и сараями, укрытый со всех сторон, будто коробочка. А в жестяной ванне, плеская нагретой солнцем водой, восседал голыш: Петушков-младший. Внутри дом оказался тоже не больше пятачка: сени с русской печью и спальня вроде канареечной клетки на

четыре души. Одна душа, Петушков-старший, была на заводе; вторая, Петушков-средний, в пионерском лагере; Петушков-младший, как известно, плавал в жестяной ванночке, а мать и супруга Галина Сергеевна в домашнем ситцевом платье, простоволосая, поила меня квасом из запотевшего ковша.

Есть семьи, в которых за простотой обихода скрывается особый лад, неуловимая поэзия отношений.

Чета Петушковых познакомилась в ранней молодости. Это произошло в саратовском оперном театре на балете «Лебединое озеро». Студенту техникума и фабричной девчонке были по карману лишь самые дешевые билеты. Они сидели тесно на галерке и смотрели на сцену почти с высоты птичьего полета. Наверно, стройные фигурки балерин выглядели для них несколько плоскими, но они не отрывали жадных глаз и впитывали прекрасное, может быть, более полно, чем те, кто сидел в партере. Нет, как это счастливо получилось все-таки, что они не истратили каждый порознь мятую рублевку ни на мороженое, ни на табак — и вот сидят рядом. Как оказалось, теперь уже навсегда.

Я молча пожелала счастья Александру и Галине Петушковым. Счастья их детям, а потом, когда дети вырастут и сами станут взрослыми, их внукам.

Но вернемся в Люберцы, в 1949 год.

Их было трое, смоленских мальчишек: Чугунов, Петушков и Гагарин. Смоленское землячество. Они заприметили друг друга еще в актовом зале, после сдачи экзаменов, и дальше уже так и держались вместе. И тогда, когда пришли на завод, и впервые увидели там, как из вагранки чугуна течет подобно воде. И позже, когда решили — кровь из носу! — кончать седьмой класс, хотя это была бы нагрузка сверх учебы в ремесленном и сверх работы на заводе.

Первым такую мысль подал Тима Чугунов.

— Я, ребята, пойду в вечернюю, — рассудительно сказал он. — Надо.

— Я тоже, — подхватил тихий Саня.

Юрий размышлял не больше секунды:

— И я.

— У него было такое свойство, — рассказывал потом Петушков. — Он не начинал первый, но сразу подхватывал все толковое и уже ни за что не отступал.

— Как же вам хватало времени?

— А после отбоя выйдем из спальни, сядем на лестнице, под лампочку, и учим уроки. Потом наш воспитатель Владимир Александрович Никифоров, видя, что у нас это не блажь, что мы решили заниматься по-настоящему, дал нам комнатку на троих. Мы каждый день сидели до часу. Каждый занимался молча. Если что-нибудь не пойму, спрошу Юру; он быстренько объяснит, и снова у нас тишина, только страницы шелестят. Юра со своей помощью не навязывался, но так уж получилось само собою, что мы старались делать как он.

А я подумала: уже тогда в нем стали проявляться почти незаметные поначалу черты героя своего времени: умение объединять вокруг себя людей и поворачивать мир его светлыми сторонами.

...Рассудительный Тимофей Чугунов оказался плотным приветливым мужчиной.

— С Юрой всегда было интересно, — говорит он. — Он больше нас читал и уже обо многом знал из того, о чем мы и не слыхали. Уроки ему почти не приходилось готовить — запоминал в классе. А энергии было так много, что без дела он просто не мог оставаться. Отсюда, мне кажется, возникла и его любовь к спорту. У него было много азарта, однако азарт никогда не делал его бесчувственным или злорадным. Как-то мы бежали на лыжах, шел зачетный кросс, и вдруг Юрий соперник сломал палку и так растерялся, что остановился

посреди дистанции, Юра, не останавливаясь, сунул ему свою палку и все-таки обогнал его.

Хотел ли он стать летчиком? Не знаю.

Когда в Люберцах над нами пролетал самолет, мы долго смотрели ему вслед, и, конечно, всем нам очень хотелось бы очутиться в кабине... И все-таки Юру больше тогда увлекала физкультура. Нет, он в своих мечтах никогда не зарывался, трезво выбирал возможное. Хотя и самое трудное из возможного!

Когда ремесленное училище было окончено, Петушков и Чугунов получили направление в Саратовский индустриальный техникум. Что касается Юрия, то в ту пору он мечтал совсем о другом поприще: ему действительно хотелось поехать в физкультурный, в Ригу.

Иногда будущее решают сущие мелочи. В Саратов сдавать экзамены можно было ехать тотчас, а в Ригу — спустя месяц.

— Ну и где ты будешь этот месяц болтаться? — усовещивал своего воспитанника Владимир Ильич Горинштейн, как каждый производственник, не желавший, чтоб пропадали зазря два года литейного обучения.

— Юра, а мы? Как же ты без нас? — завздыхали Тима и Саня.

Юра немного помялся и... передумал. Чашечка невидимых весов вздрогнула и качнулась. Вектор решительно указал на космос. В Саратов.

НОВЫЕ МЕСТА, НОВЫЕ ЛЮДИ

Когда Юрий Гагарин приехал в Саратов, ему сровнялось восемнадцать лет.

Среди поступающих в индустриальный техникум было шестеро отличников, и их должны были принимать по положению без экзаменов. Однако, как и теперь с зо-

лотыми медалистами, директор и педагоги устраивали собеседования, которые отличались от экзаменов лишь тем, что не тянули билетов.

Директором был тогда Александр Максимович Коваль, человек интеллигентный, с запоминающимся тонким лицом. А историю вела Надежда Антоновна Бренько, женщина, как мне представилось потом из личного знакомства, скорее суховатого склада, к которой, однако, ученики — и Юрий в том числе — питали многолетнюю искреннюю привязанность. И именно ее дворик в тесноте деревянных крылец, миниатюрных палисадников и кирпичных стен, сдвинутых друг с другом, как бодающиеся лбы, заставил меня ловить отблеск давних дней, когда сюда прибегал раза два или три не ведомый никому будущий почетный гражданин города Саратова.

Шестую осень техникум зачислял студентов, и, хотя война кончилась тоже шесть лет назад, все еще шли учиться бывшие фронтовики с планками медалей и орденов на левой стороне гимнастерки. И вот им-то Надежда Антоновна Бренько отдавала свои симпатии, невольное предпочтение перед вчерашними школьниками. На примере собственного батрацкого детства, о котором я постараюсь найти случай рассказать, она знала, как жизнь «ворует» иногда у человека лучшие годы, и то, что у ее великовозрастных студентов отняла война, ей хотелось бы теперь безотчетным материнским движением хоть отчасти возместить им.

В тот день, когда в числе отличников к директору вошел и Юрий Гагарин, такой бойкий, улыбатый мальчишка, директор забеспокоился.

— Ну, пусть у него нет жизненного опыта, — шепнул он Надежде Антоновне. — Зато какие четкие знания!

Все учителя Гагарина дружно твердят, что он всегда и всему учился одинаково хорошо. Трудно было даже уловить, существовали ли у него какие-нибудь особые

пристрастия? Позже с одинаковым успехом он делал доклады и по физике и по истории.

Потом, когда прошли уже четыре учебных года и близился выпуск, то есть в то самое время, когда Юрий уже твердо знал для себя, что будет не литейщиком, а летчиком, он продолжал учиться так же ровно, увлеченно и старательно.

Признаюсь, это несколько озадачило меня. Было бы вполне естественно — и не в укор ему, — если б все силы он бросил теперь на занятия в аэроклубе, а не на ненужную в будущем технологию литейных печей!

— Как вы думаете, почему он так хорошо учился? — задала я Надежде Антоновне несколько странный вопрос. — Он ведь не был тщеславцем и не стремился во что бы то ни стало к первенству?

— О нет! — воскликнула она даже с некоторым возмущением. — Он был простодушный и жизнерадостный мальчик. Мне кажется, ему просто было все интересно. Все на свете, с чем бы он ни сталкивался. А о том, что у него свои планы, я узнала лишь месяца за три до выпуска. Мы как-то разговорились все вместе — ведь у них была маленькая группа, человек пятнадцать, и за четыре-то года я их всех узнала очень хорошо, особенно потому, что они приходили иногда к нам с мужем домой, особенно когда муж заболел. «Вот, — сказала я им тогда, — сейчас вы еще мои ученики, но я смотрю на вас и вижу будущих инженеров, директоров ремесленных училищ, а может быть, даже и ученых». Ребята приосанились, лишь Юра засмеялся и, приложив левую ладонь к груди — был у него такой излюбленный шуточный жест, — сказал: «А вот про меня вы не угадали. Я не буду ни инженером и ни ученым, а летчиком-испытателем, как Чкалов. Надо же кому-то и Чкалова заменить». Смерть Чкалова была тогда еще у всех в памяти, и слова эти никак не прозвучали хвастовством, а ско-

рее имели трогательный оттенок. Я не отнеслась к ним серьезно. «Зачем же тебе выбирать такую хлопотливую профессию? Никогда не быть дома, кочевать с места на место... Вот женишься... (А его приятель Виктор Порохня громким шепотом тотчас подсказывает имя однокурсницы.) Ну, может, и не на ней, — говорю, — все равно на ком, но жене может такая жизнь совсем не понравиться». В общем, мне казалось тогда, что это обычные мальчишеские выдумки.

— Может быть, Гагарин был замкнутым и просто о нем никто ничего не знал по-настоящему?

— Да нет, — задумчиво возразила она, — он был очень открытый и простодушный.

Как большинство вспоминающих о Юрии Гагарине, Надежда Антоновна запомнила и очень много, и обидно мало. Она как бы впитала в себя его образ целиком, не расчленяя на отдельные черты и поступки.

У Гагарина на всех этапах его жизни была удивительная особенность: он постоянно был на виду, но никогда не выделялся. С ним не случалось ни каких-нибудь скандальных оплошек, ни чрезвычайных событий. В те минуты, когда нужна была помощь, требовались сочувствие или хлопоты за кого-то, неизменно и ненавязчиво возникала его невысокая фигурка. Опять же не одиноко, а в окружении товарищей. Великолепное чувство коллективизма — или, иначе, товарищества, дружба — было ему присуще в каждом возрасте.

По обыкновенному же, человеческому счету Юрий продолжал, как и в детстве, оставаться отзывчивым и добрым малым. Неблагодарность не была ему свойственна ни в коей мере, и потом уже, став так необыкновенно знаменитым, он находил время помнить всех своих старых учительниц, находил слова, чтобы их порадовать, и вообще был прекрасно щедр в течение всей своей короткой жизни на добрые движения души.

Так, райкомовский работник Анатолий Засильевич Медведков, человек в Гжатске недавний, пришлый, вспомнил, к слову, как ездил с Гагариным, уже кандидатом в депутаты Верховного Совета, в соседнюю Сычовку.

Стояла очень снежная зима. Усталый Гагарин вышел боковой дверью из Дома культуры, где только что окончилась его встреча с избирателями, и пробирался по узкой тропке через сквер. И вдруг заприметил поодаль старушку; она тоже спешила на митинг, да опоздала, застряла в сугробе.

Гагарин подобрал полы шинели, шагнул в глубочайший снег, черпая полные ботинки, вынес старушку на тропку. «Ах, батюшки! — всполошилась она. — Я ведь хотела космонавта послушать. Неужто ушел?» — «Нет, бабушка. Это я». Обрадованная старуха стала задавать вопросы. Пока он с ней разговаривал, подвалила толпа из Дома культуры. И так он шел, охотно останавливаясь на каждом шагу, потому что его окружали все новые люди. Они только что слышали его и видели на трибуне, и все-таки им было жалко отпускать его.

В этом маленьком происшествии нет ничего примечательного, кроме того, что оно обогатило людские сердца. А если бы Юрий Алексеевич был жив, он бы, наверно, не смог даже припомнить того вечера.

Непохожесть, неповторимость душевного мира более всего и выявляется в героических судьбах. Все знают об их вершинах, но как угадать истоки? Зерно и плод, цветы и корень несхожи между собою. К одному итогу подводят совершенно различные предпосылки. А сравнительную ценность человеческих личностей не удалось пока вывести из общих формул. Нет таких формул. И отлично, что нет.

Его сокурсница, белокурая Римма Миронычева, ныне Гаврилина, выразила свое впечатление о Юре Гагарине, второкурснике, так:

— Юра был легкий человек...

Его постоянная неистощимая веселость, умение обернуть любую неловкость в шутливую сторону, неутомимость и добродушие привлекали всех.

Вот у кого-то оказался фотоаппарат. «Сниматься, сниматься!» — тащит Гагарин. Он же придумывает мгновенно «сюжет кадра». Вытащив из кармана фуражку (стояла осень, и парни щеголяли до первого морозца непокрытыми головами), он подкидывает ее вверх, а Римма ловит...

Никто не предполагал тогда, что любой гагаринский снимок станет со временем достоянием истории. И через сто лет архивисты примутся столь же кропотливо искать крохи его биографии, как мы сейчас стараемся по темным намекам восстановить жизнь Магеллана. Да и хорошо, что не знали!

В нашем сознании Гагарин не стал памятником. Мы говорим о нем, как о живом. А те, кто его знал близко, любят уж, конечно, не героя, а прежде всего доброго, верного товарища.

Ведь и Римма Сергеевна, спустя много лет, вместе с мужем и другими однокашниками примостившись на продавленном диване в боковой комнатке, куда сбежали они вместе с первым космонавтом из-за парадного стола, не спросила его: «Какие награды тебе вручали?» — но лишь: «Устал ты, Юрка?»

Это был двадцатилетний юбилей техникума. Его бывшим воспитанникам разослали приглашения. От Гагарина ответа не было, и на это, собственно, даже не обиделись: мало ли у него дел!

А между тем Гагарин, напротив, очень хотел приехать. Только сделать это незаметно, по-мальчишески увернувшись от собственной славы.

Когда он покупал билеты для себя и для жены, он даже взял честное слово с железнодорожного служащего, что тот никому не проболтается о поездке.

Служащий томился неимоверно! И поделился новостью лишь с помощником. Помощник оказался человеком хитроумным: «Но с меня-то он слова не брал?»

Полетели звонки по инстанциям. И когда поезд Москва — Саратов достиг места назначения — увы! — Юрия ожидала торжественная встреча. И митинги, и длинные столы президиумов, и список «мест посещения». Как будто он не знал здесь каждого переулка! Как будто стремился не в город своей юности, где так было бы, наверно, сладко и грустно постоять одному под каким-нибудь памятным деревом или толкнуть заржавелую калитку...

Юрий Алексеевич всегда отличался тактичностью и выдержкой. Наверняка он виду не подал, что его постигло некоторое разочарование. Он только посадил на банкете поближе к себе старых друзей, которые кричали ему через стол: «А помнишь?!»

Он освободил стул для Надежды Антоновны Бренько, повторяя жене: «Валя, это ведь та самая Надежда Антоновна».

И старая учительница до сих пор помнит под своими пальцами его мягкие волосы, когда их три затылка нагнулись и сблизились...

Надежда Антоновна как-то мне сказала:

— У меня мало было своего отдельного счастья. Мое счастье начиналось, когда я входила в класс.

Учительство всегда представлялось ей высшим жизненным назначением.

Когда несмышленым ребенком вместе с матерью-вдовой, беженкой из-под Гродно, она попала в астраханское село на широком волжском рукаве Ахтубе и началась жизнь нищая и неправдоподобно унижительная — ведь за пару башмаков, чтоб зимой пойти в школу, десятилетняя девочка целый день гоняла по кругу лошадей, двигавших водяной ворот, поливное колесо, —

о, какой удивительно возвышенной и прекрасной представлялась ей жизнь сельской учительницы; той самой, что из жалости однажды зазвала ее к себе и умыла!

Ночью она тихонько молилась про себя: «Сделай меня учительницей, и больше я ни о чем не попрошу!»

Я думаю, что судьба не так уж плохо обошлась с человеком, если все-таки исполнила его детские мечты.

САРАТОВСКИЕ ОЧЕВИДЦЫ

Как быстро меняются города! И какими непостоянными оказываются камни! Люди еще молоды, полны сил, а дома, словно прошло целое столетие, надстроены, перестроены, перекрашены.

Индустриальный техникум из трехэтажного кирпичного здания губернского толка превратился в серую глыбу современной пятиэтажки. Шершавые пупырчатые его бока похожи на наждак.

— Вот тут, — говорят мне, — была стена, а здесь раздевалка. И колонны круглые.

Такое ощущение, будто стены резиновые: они сжимаются и растягиваются. Я пытаюсь увидеть коридоры и лестницы чужими глазами.

Там, где сейчас библиотека — по коридору, налево, первая дверь направо, — был раньше класс, где на последней парте сидел Гагарин.

За несколько месяцев до полета старшим лейтенантом он приехал в Саратов и пришел сюда. Его встретил поначалу кто-то чужой: «Вам чего, товарищ старший лейтенант?» — «Я хочу посидеть за своей партией».

Но тотчас стали попадаться и знакомые. Константин Павлович Турецков, мастер фрезерного дела, сухопарый, уже с обильной проседью, хлопнул по плечу. «Кто же ты, Юрий, теперь?» — «Летчик-испытатель». — «А за-

чем такую трудную и беспокойную профессию выбрал?» Улыбнулся: «Так другие ведь могут? И я могу».

Турецков отомкнул мне бывшую литейку, где настилают кафельный пол, приспособлявая совсем для других целей, и от новеньких станков пахнет свежей масляной краской. В ней тоже все изменилось, кроме разве квадратных переплетов стеклянной крыши. Турецков раскидывает руки — и начинается очередной сеанс иллюзиона.

— Вот тут была литейная печь, по-нашему, вагранка. Здесь заливали опоки. Отсюда доставляли форму.

Я смотрю во все глаза... и начинаю видеть.

Я вижу зимний день с промельком снеговых туч, мохнатое небо над стеклянной крышей. Слышу скрип песка под подошвами Юриных башмаков. («Они у него вот такие были, на вырост. Какие завхсэ выдаст. Сам не покупал, из дому денег не просил. Если совсем туго приходилось, пойдут с ребятами на железную дорогу, что-нибудь погрузят, разгрузят. Подработают».)

Но один ли он тут, под стеклянной крышей, перед потухшей вагранкой? Нет, в одиночестве его никто не припомнит: «Юра парень компанейский!» — таков общий глас.

В тот зимний день, который темнел на глазах, превращаясь в инистые сумерки, директор техникума расстроился, что вот, мол, остался невыполненным срочный заказ, надо бы отлить одну деталь. «Уплатить я вам не могу, — сказал он, — но уж очень надо, ребята!»

— Ведь мы, мастера, каких учеников запоминали? — журчит за моей спиной голос. — Или лодырей отчаянных, или выскочек. А Юра стоит себе скромно, спорить не будет. Хоть и был отличным литейщиком, но любую самую черную работу выполнит.

— Может, он просто относился ко всему этому равнодушно? — спрашиваю не оборачиваясь.

— Нет, он был не равнодушным, а старательным. Или, если по-старинному сказать, прилежным. На хорошее дело первый закоперщик. Вот и тогда: «Ну, надо», — говорит. Остались ребята, разожгли вагранку, чтоб работать допоздна...

Так зимний день в моих глазах стал ранним вечером. На рабочих комбинезонах литейщиков, все разгораясь и разгораясь, ярко вспыхивал румянец литейной печи...

— А вот эта лестница старая! — сказал мне кто-то с радостью.

Перила в самом деле были шатки и скрипучи.

Черноволосый курчавый Анатолий Иванович Ракчеев, нынешний заместитель директора по производству, возносится по крутым ступеням, не касаясь перил.

— Героем быть просто! — хохочет он. — Летчику приказано стать космонавтом, вот он и летит. Такая же работа, как у вас или у меня.

«Ну прямо как в песне, — беззлобно думаю я. — «Когда страна быть прикажет героем...»

Я, разумеется, спорю с Ракчеевым, но не очень. Чем-то молодым, озорным пахнуло от его голоса, лица. словно только вчера недавний выпускник этого самого техникума, а потом в нем же молодой мастер и по совместительству студент-заочник Анатолий Ракчеев вместе с Гагариным и его товарищами, все двенадцать или четырнадцать парней, набиваются в лодку. Перевозчик собирает рублики, мотор стучит все быстрее, и Волга уже прошита пенным следом, как белой ниткой.

— Тихий? Прилежный? В сторонке стоит? Какая ерунда! Балагур, озорной парень, как и все мы были тогда.

Юра Гагарин... Юра Гагарин... Каким теплым пятнышком остался он в груди многих самых разных людей!

— А вы знаете, что он был капитан баскетбольной команды? — даже как-то строго вопрошает меня седой Семен Николаевич Романцев.

Семен Николаевич уже на пенсии, сейчас, в обеденный перерыв, пришел поиграть с бывшими сослуживцами в шахматы.

— А ведь он был невысокого роста. Самый маленький — и капитан! Почему?

Я этого не знаю.

— Потому что ребята ему доверяли. Где Юра Ггарин, там порядок.

Но истинным воплощением порядка мне показался Александр Гаврилович Шикин, приехавший на следующий день из Балакова, города, столь стремительно обрастающего заводами, что его уроженцы вроде Шикина только успевают отщелкивать на пальцах новые тысячи жителей, сначала по одной, а теперь десятками, потому что по населению Балаково нынче третий город в области после Саратова и Энгельса.

— Живем как в Венеции, — говорит обстоятельный Шикин. — По шлюзу ходим.

Его коттедж — построенный методом народной стройки, когда будущие домовладельцы с помощью завода, навалившись, как говорится, миром, возвели целый поселок, — теперь отрезан и рекой и каналом от нового города.

Конечно, когда заводской парень Саша Шикин, проработав уже восемь лет модельщиком, решил поступать в Саратовский индустриальный, Балаково, из которого он, как и сегодня, уплывал на пароходе, было совсем другим.

А вот Шикин, мне кажется, всегда одинаков! Словно он так и появился на свет рассудительным, все обдумывающим впрок и знающим главную мерку вещам: сколько и на что потрачено усилий.

Он отвечал на том первом собеседовании зычно, по-солдатски, хотя в армии не служил, возможно, из-за правого глаза, пораженного бельмом. Отвечал в рамках своего седьмого класса, а если директор случайным вопросом пытался вывести его за эти рамки, он возражал, что такого в программе не было, — и директор отступал перед его правотой. Он обещал стать надежным, крепким производственником. Его приняли охотно.

Гагарина Шикин запомнил сразу. Директор хвалил пятерых москвичей — вот Шикин и приглядывался к ним на обязательной для всех литейной пробе.

Опять я мысленно населила бывшую литейку, с ее стеклянным скатом потолка, озабоченной гурьбой новичков. Подробный рассказ Шикина очень помог этому. Сам он должен был отлить часть садовой решетки, и пока на плацу — так называется часть литейного цеха, где готовят землю для формовки, — все с одинаковым усердием лопатами таскали песок, мешали его с глиной, увлажняли и просеивали через большое решето грохота, чтобы земля стала мягкой и лепкой, он особенно ревниво следил за хваленой пятеркой. Нет, не всех запомнил. Князев и Перегудов как-то выпали из памяти, наверно, работали средненько; Шикину не к чему было их и запоминать! Но трое остальных — сопляков, шкетов, ибо разница в шесть лет ставила Шикина на недосягаемую черту взрослости — привлекли его внимание. Хорошо, споро, толково действовали ремесленники. Шикин отдавал им должное.

И вся его дальнейшая оценка четырех гагаринских лет так и шла под знаком признания: да, умел распределить время, да, сил хватало на все, да, старался. А как же иначе? Государство взяло их на полное обеспечение, кормило, одевало, обувало, давало профессию да еще платило стипендию. Что же им оставалось еще делать, как не учиться?

В их группе литейщиков из пятнадцати человек девятую кончили техникум с отличием. С моей точки зрения, это просто великолепно. С его — нормально. Поэтому лично он, Шикин, не так уж чрезмерно восхищался гагаринскими успехами; сам учился хорошо.

А когда преподаватель физики, вездливый старичок, ныне покойный Николай Иванович Москвин, на каком-то показательном уроке все сорок пять минут спрашивал их попеременно вдвоем, Шикин и посейчас чувствует удовлетворение от того, как ладно, без запинок они оба отвечали.

Гагарина он уважал за то, что нес тройную нагрузку и ничего не заваливал!

— После обеда мы отдыхаем час-два, а он бежит на спортплощадку, готовится к соревнованиям, собирает ребят. Потом прибавился аэроклуб. Мы садимся за подготовку уроков — он уходит на другие занятия. Принесет уже поздно вечером чертежи крыла самолета, показывает нам. Он ведь знал, что никто его сразу на самолет не посадит, нужна теория и теория. Другим это скучным казалось: в аэроклуб у нас поступали многие, да кончил он один. Вот и выходит, что в десять вечера мы уже спать ложимся, отдыхаем, а Юрий только за подготовку уроков на следующий день берется. Память у него была колоссальная, конечно. Но дело не в одной памяти.

Шикин — человек не способный восторгаться и умиляться. У него что заслужил, то и получи. Ближних он склонен скорее подвергать критическому анализу, чем переоценке. Да, Гагарину нравилось, когда учителя его вызывали и он мог показать свои знания. Выскочкой не был (Шикин добросовестно морщит лоб, сверяясь с воспоминаниями), но встать перед классом и ответить четко, ясно, весело любил. Разве это плохо?

После приема в техникум Шикин еще на полтора ме-

сяца уплыл к себе в Балаково, а приезжие москвичи до начала занятий остались в Саратове.

Смоленская троица — Чугунов, Гагарин, Петушков — сначала празднично шаталась по городу со своим люберецким преподавателем Владимиром Александровичем Никифоровым, которому вряд ли тогда было тоже больше двадцати двух лет. Саратов после Москвы казался им очень тихим и зеленым.

— Не улицы, а сплошной парк, — обронил как-то Юрий, когда они вчетвером шли в густой тени, возвращаясь из столовой, где их кормили по талонам.

Беззаботная жизнь выпала им в ту неделю!

Они побывали во всех местных музеях. Заходили в дом Чернышевского — крыльцо вело со стороны двора, над которым нависал ветхий балкончик со свежеподбеленными балясинами, а в душных комнатах, среди экспонатов под стеклом, были выставлены прописи маленького Николеньки. Одна повторяющаяся фраза, овеванная особо грустной и трогательной интонацией: «Честный человек всеми любим. Честный человек всеми любим. Честный человек всеми любим...»

Для Саратова любые маршруты начинаются от Крытого рынка. Он расположен в центре, на перекрестке пяти улиц. Протяженное двухъярусное здание с куполом и полукруглыми окнами во всю стену по фасаду. Его построили в 1914 году, в год начала первой мировой войны, которая так хорошо запомнилась в заштатных Меленках Коле Каманину, будущему генералу второй мировой войны.

Ночами пустой Крытый рынок тихо светится изнутри, как сонный корабль...

А оканчиваются саратовские маршруты неизменно у Волги, на зеленом крутом косогоре; он еще не скоро станет набережной Космонавтов, красой города, хотя

сам первый космонавт безвестно и неведомо ни для кого уже сигал с него в воду.

Непередаваемо радостно ощущение тела, слившегося с волной! Теплые и прохладные струи попеременно ласкают кожу; мышцы напрягаются, вздрагивают от наслаждения; зеркальные искры обдают глаза и рот; запах рыбьих затонов, сладких корневищ водяных трав вливается в ноздри.

Равнинные реки полны державным покоем. Человек на миг как бы впитывает в себя их царственное величие, становясь тоже добрым и огромным.

— Вот что, ребята, — сказал через неделю директор техникума Коваль, приметив, что после отъезда Никифорова москвичи повесили носы и затопились бездельем. — Поезжайте-ка в колхоз на уборку. Разомните косточки.

Они с радостью согласились.

ЛУНА, РАХМЕТОВ И ДНЕВНИК ГАГАРИНА

Саратов плавился в тридцатиградусной жаре. Стены домов и крыши излучали тусклое сияние, сквозь которое резко, как клинок, вдруг взблескивало далекое окно. Небо, Волга, горы одинаково тонули в пепельной мгле. Густые деревья вдоль улиц хранили в радиусе своих стволов уже не прохладу, но лишь спасительное для глаз затенение.

На колхозном току наши смоленские парни, едва отчихавшись от пыльной дороги, окунались в крупную метель летящей соломы. Горячие завихрения охватывали обручем потные лбы; колющие ости прилипали к губам и царапали.

— Давай, давай! — кричали им полуголые возбуж-

денные работой мужики, от которых шел запах хмельного кваса.

— Давай! — с готовностью подхватывала неразлучная троица, вскидывая лопаты с зерном.

Лишь нагрузив кузов, они припадали к ведру. Вода текла мутными ручейками по запыленным подбородкам. Они плескали друг дружке горстями в лицо, лили на загривки, хотя и знали, что знойный ветер тотчас высушит, а плотная пыль щекочуще облепит с головы до ног, едва они выведут груженую машину на знакомый шлях до Екатериновки.

Так день за днем солнце прожаривало их. Они уже и сами себе казались ржаными сухарями, которые знай ворочаются на противне. Дни текли бездумные, веселые. Ночь подстилала под бок мягкие пшеничные снопы. Сон приходил мгновенный, без сновидений.

Однажды, возвращаясь после третьей за сутки поездки на элеватор, они притормозили на обочине и решили заночевать в поле. Пройдя в сторону шагов сто, вступили босыми ногами в черную теплую речку, почти невидимую в темноте.

И тотчас вспомнилась мигающая у Саратова Волга в береговых причальных, корабельных огнях. Здесь, в степи, словно никаких городов и не существовало вовсе. Темь была мохнатой, густой, хотя уже выкатывалась из-за ближнего пригорка луна. Дымная от неостудившегося дневного жара, от дрожащей над полями пелены, желтая, как копыта мякотины, она тяжело отдувалась круглыми щеками и золотила надвинутый козырек тучи.

Они ушли под воду до подбородков: луна и лица очутились на одной прямой.

Вода снимает с человека обузу веса; легкость тела пняила смутными возможностями. Соседняя планета не казалась уже недосыгаемой для устремленных на нее глаз...

Но миг прозрения быстро потух, незаметно сменившись другими впечатлениями.

Под босыми ногами осыпался мелкими комьями бережок. Влажность безымянной речки боролась с устойчивым степным запахом полыни. Ленивый ветер едва переползал от холма к холму.

Они лежали навзничь в кузове своей машины, дышали душистым ночным воздухом, подставив запрокинутые лица оранжевому сиянию, расслабив блаженно мускулы, раскинув руки и ноги, и, прежде чем веки окончательно слиплись, ощущали каждой клеточкой тела беспредельное молодое счастье.

Жизнь велика и обещала им столь многое! Рассудительному Тиме, мечтательному кроткому Сане, компанейскому Юрию — всем троим сквозь сон кивали утвердительно их большие надежды.

...Шикин вернулся в Саратов в последних числах августа, и первое, что запомнилось ему о всей группе литейщиков, — это их совместная поездка за шихтой на станцию Уляши. Там они ходили между старым ломом — колесами, шестеренками, заржавленными кроватями. Брали что поменьше, чтоб донести до грузовика.

А дальше потекло учебное время в простой рамке дней, очерченных утренним завтраком в восемь часов — тарелкой каши и стаканом чаю — и поздними вечерними занятиями в комнате общежития за длинным столом, когда большинство сокурсников уже спит под разноцветными байковыми одеялами, прикрыв лицо простыней от света лампочки на длинном шнуре. В этом незамысловатом обрамлении рядом с другими, среди других, заодно с другими жил юноша Гагарин, ничем не отличавшийся, кроме целеустремленности. Хотя, как ни странно, эта целеустремленность была направлена не в одну-единственную сторону, как случалось у большин-

ства выдающихся людей, знавших «одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть».

Гагарин впитывал в себя окружающее: жадность его мозга была удивительна, голова вмещала все. А впрочем, почему удивительна! Не являлся ли он просто примером здоровой гармоничной натуры без того «перекося», который создает гениев, но и без ограниченности, когда богатства мира воспринимаются лишь мимоходом?

Он не растрачивал свои силы впустую. Он постоянно искал и добивался большего на каждом из тех поприщ, которые предоставляли обстоятельства. Упорство, оптимизм и работоспособность — главные его черты.

Мне не удалось ни от кого получить ни малейшего намека на то, что Гагарин в детстве или юности был безудержным фантазером. Нет, он стоял на земле так же крепко, как и его однокашник Шикин.

— Да у него романтикой была набита голова! — воскликнул, качая головой, многолетний приятель Виктор Порохня. — И конечно уж, он не относился к расчетливым, педантичным людям. Иначе как объяснить, что, заработав небольшую сумму судьейством в баскетболе, он тотчас повел нас всех в город, и мы прокутили эти деньги на мороженом?

— Мальчик он был, — сказала умудренная жизнью женщина. — Долго оставался мальчиком, а это удел избранных.

Нина Васильевна Рузанова сейчас сильно больна;жатие руки ее вяло, в выражении лица, крупного и несколько плоского, слабость борется с былой энергией.

Гагарина она запомнила в первый же день занятий. Щуплый подросток — ему сровнялось восемнадцать, но выглядел он скорее пятнадцатилетним, — легко краснеющий, улыбчивый, — ощущение постоянной улыбки создавалось приподнятыми вверх уголками губ, — с чет-

ким голосом. Он отрапортовал как положено, что класс к занятиям готов и что докладывает об этом дежурный Гагарин. Так она узнала его фамилию.

Первое, что ей бросилось в глаза, это то, что он не вернулся на место без разрешения: в нем чувствовался навык к дисциплине. «Садитесь, Гагарин», — сказала она. (В техникуме студентов называли только на «вы». «Ты» появлялось лишь вне занятий, оно носило дружеский оттенок.)

За четыре года Нина Васильевна, как ей казалось, узнала Юрия очень хорошо. Ему нравились уроки литературы, он много читал — по программе, но всегда забегая несколько вперед, — и частенько с обычным милым своим выражением скромной внимательности останавливал учительницу в коридоре или просовывал улыбающуюся мордочку в приоткрытую дверь.

Вот он только что прочел «Войну и мир» и не мог дожждаться, когда роман будут разбирать на уроке. Ему очень понравился Болконский!

— Чем же он тебе нравится?

— Он честный.

В один из первых уроков зашел разговор о счастье.

— Счастливым человек может быть только вместе со своей страной, — сказал Гагарин. Святая убежденность звучала в его голосе.

Отличная память тотчас подсказала строки из поэмы Алигер: «Нам счастья надо очень много. Маленького счастья не возьмем». Подвиг Зои представлялся ему верхом человеческого благородства и уже тем самым мог почитаться счастьем.

— Если бы я попал в такое положение, я хотел бы вести себя так же.

— Струсил бы, — шутиливо ввернул кто-то из однокурсников.

— Нет!

Разумеется, это был обычный разговор обычных советских учащихся на рядовом уроке литературы. Значительным он становится лишь потому, что мы слышим его как бы из будущего, когда каждая мелочь биографии Гагарина приобретает особый смысл. И еще хорошо то, что этот эпизод воскрешает наши собственные чувства в том же возрасте.

Хотела бы я знать, кто не спорил, прочитав «Что делать?», о резкой, мрачноватой, волнующе-привлекательной фигуре Рахметова?

Юрий остановил Нину Васильевну в коридоре.

— Целую ночь проспори́л в общежитии из-за Рахметова. Вот бестолочи! Говорят, что нечего ему было спать на гвоздях; героизм, мол, не в этом.

— А что отвечал ты?

— Дело не в гвоздях, а в испытании. Революционер должен знать, на что он способен, где граница его сил. Проверить это можно по-разному. В том числе и так, как Рахметов.

— Чем же кончился ваш спор?

— Я их убедил. Уже под утро.

Кроме литературы, Нина Васильевна вела уроки по грамматике русского языка. У Юры Гагарина тетради были чистенькие, аккуратные, а почерк скорее девичий (с годами он менялся). Но был случай, когда домашнее задание оказалось хоть и выполненным, но неряшливо, с кляксами, ошибками.

— Ребята, разве это похоже на тетрадь Юры Гагарина? — спросила она, поднимая листок со злосчастными деепричастиями.

Гагарин молчал. Опустил глаза — и ни слова в оправдание.

На перемене ученики догнали Рузанову в коридоре.

— Вы знаете, почему так получилось у Гагарина?

Он вчера поздно вернулся с тренировки, а во всем общежитии выключили свет, заниматься было нельзя. Юрка проснулся на рассвете и готовил уроки наспех.

(Я подумала: в самом деле! Если это был зимний день, то ведь рассвет наступает так поздно, а в восемь часов в техникуме уже завтрак. Времени просто не оказалось.)

К следующему уроку Юрий подал тетрадку с двумя упражнениями: тем, которое было задано на сегодня, и с прежним, на деепричастия, переписанным заново.

— Больше этого не повторится, Нина Васильевна, — сказал.

И действительно, не повторилось.

— Был ли он фантазером? — переспрашивает она меня. И некоторое время находится в затруднении. — То есть мечтателем? Конечно, у него была мечта стать летчиком. «Я хочу летать», — говорил он мне не раз.

Я знаю, что человеческая память не самое надежное свидетельство. Иногда нам кажется, что было так, потому что именно это наиболее логично для того, что случается позже.

Нина Васильевна слегка горячится:

— Но он в самом деле мечтал об этом! Он мне говорил, как еще в детстве смотрел на летящие самолеты...

Да, я знаю. В Клушине опустился подбитый советский самолет. Все клушинские мальчишки бегали смотреть, когда немцы сняли охрану.

Но вот я спрашиваю летчика Юрия Гундарева:

— А почему вы и ваш тезка пошли в аэроклуб? Послужило ли что-нибудь толчком? Не может быть, чтобы вы ни разу не вспоминали потом об этом между собою.

Гундарев не словесник, не педагог. Его мышление и память не тренированы профессионально. Однако он добросовестно думает.

— Знаете, — говорит он, просяив облэгченной улыбой, — скорее всего нам понравился фильм «Истребители». И я и Юрий в разное время смотрели его. Он произвел тогда очень сильное впечатление!

— А как вы думаете, если б в Саратове не было аэроклуба, или если б Гагарин не смог его окончить и, следовательно, поступить в летную школу, как бы сложились его судьба после техникума?

— Он бы учился в институте. Уж это я точно знаю.

Я вспомнила, что и Шикин рассказывал: когда получали направление, Юрий говорил: «Вы, ребята, выбирайте что получше, а я возьму куда останется. Все равно ехать придется».

Интересно, а когда он это говорил? Уже окончив курсы аэроклуба и наверняка готовясь к поездке в Оренбург? Или до? То есть когда возможен был еще и неудачный исход с окончанием аэроклуба?

Звоню Римме Гаврилиной. Она вспоминает:

— Направления мы получали в апреле. А дипломы защищали в июне.

— Не в мае?

— Нет, в июне. Даже, кажется, и июль захватывали.

— Ну, июль не может быть.

Я ведь знаю, что в июле Юрий уже жил на аэродроме ДОСААФ и трудно, так мучительно трудно, отрабатывал посадку.

Нина Васильевна Рузанова позвонила мне на следующее утро.

— А вы знаете, — торопливо сказала она, — ведь Юрий вел дневник. Вот бы разыскать его!

Я жадно спрашиваю, при каких обстоятельствах она об этом узнала.

— Мы остались с ним как-то вдвоем после занятий литературного кружка. Только что разбиралось его сочинение. «Юра, — сказала я, — ты же хорошо знаешь

деепричастия, а у тебя попадаются обороты вроде: «сидя у окна, прошел трамвай». Он сердито хлопнул ладонью по лбу: «Вот пешка! Неужели я так написал?!» Потом застенчиво проговорил: «Давно хотел сказать: я веду дневничок. Только там, наверно, полно ошибок, да и пишу безалаберно: только о том, что меня взволновало в текущий момент». Он мне показал тогда некоторые страницы. А кое-что совсем по-детски неуклюже загораживал ладонью.

— Вспомните, пожалуйста, вспомните хоть приблизительно, какого рода были записи?

В трубке задумчивое молчание. И мое напряженное ожидание по эту сторону провода.

— Как-то весной мы всем техникумом ездили на маевку, в дачное место под городом, на Девятую остановку. И вот Юра описал этот день примерно так: «Как дышится легко! Неплохо было бы здесь и уроки готовить. Но далеко ездить. Ничего, рядом Липки».

(Липки — городской сквер в центре Саратова, в двух шагах от техникума. Там в те времена стояла гипсовая фигура летчицы. Юрий подолгу рассматривал ее. Есть даже такой любительский моментальный снимок его у подножия статуи.)

— Иногда он записывал впечатление от урока, — продолжает Нина Васильевна. — Например, о физике: «Сегодня Николай Иванович начал урок с того, с чего и всегда: с Жуковского. Имя это меня заинтересовало, хочется знать побольше».

С небольшой запинкой Нина Васильевна добавляет:

— Была запись и о моем уроке по «Грозе» Островского. Всего он мне не показал; наверно, там дальше шли его собственные рассуждения о любви. Но такую фразу помню: «Нина Васильевна вся ушла в урок».

Она молчит, растроганная воспоминанием. Потом добавляет:

— Его приятель Петрунин в одной статье написал, что «Нина Васильевна всегда была без ума от Гагарина». Это и так и не так: Юра Гагарин был моим любимцем, но не любимчиком!

— Нина Васильевна! Не оправдывайтесь. Мы все его любим. Я ведь тоже его люблю.

— Спасибо вам за это, — неожиданно говорит она.

В этот день не захотелось больше ни с кем говорить, ничего записывать. Я приняла приглашение знакомых поехать с ними на моторном катере за Волгу.

Тугая плотная волна, и мелкие зеркалышки, плывущие навстречу; Саратов в пепельной дымке, придвинутый к подножию круговых плоских гор — весь-весь необыкновенный солнечный мир поворачивался ко мне, как некогда и к Юрию, то одним боком с городскими трубами, то другим, лесистым, где тихая Сазанка вливается в Волгу, где рыбы заводи и песчаные отмели, атласные под ногой; зыбкие острова в камышах... Ах, повезло тебе, Юра Гагарин, прожить здесь четыре года, повезло купаться в Волге, пить ее воду — какой же русский без Волги?! Вообще повезло. Повезло на прошлое, когда ты остался жив, уцелел малой соломинкой в буреломе войны. Но еще больше повезет в будущем, о котором ты еще ничего не знаешь.

Пора весны, пора юности подходила к концу. Гагарин готовился вступить в лето своей жизни, и зенит ее был уже так недалек!

У БРОНЗОВЫХ КОНЕЙ

Было и еще одно яркое впечатление в последний год его учебы — поездка в Ленинград.

В детстве Юрий видал только одно здание, которое, как волшебный дворец, сопровождало его мальчише-

ские грезы, — барский дом с башенкой и стрельчатыми окнами в поместье Муромцева.

Давно не было помещиков, а дом стоял. Знатоки, наверно, нашли бы в нем множество изъянов и погрешностей против строгого стиля, но для неискушенного взора он и до сих пор хорош.

Как бы то ни было, но именно бывший дом Муромцева да стройная клушинская колокольня подготовили Юрия к восприятию безмолвного языка архитектуры, когда он впервые попал на берега Невы.

Конечно, он приехал туда отнюдь не как турист созерцать шедевры, а на производственную практику.

Завод «Вулкан» находится на окраине, на берегу Малой Невки. Река эта не облицована гранитом, как ее державная сестра, у нее земляные сорные склоны, чугунные столбы фонарей, черные от копоти. Красная заводская кирпичная стена горит в вечернем солнце яркой медью.

— Только не говорите, что вы его помните! — сказала я заместителю директора завода Матвею Абрамовичу Аркинду, разглядывая его массивную, в голубой седине голову. На фоне стены он был похож на монумент — почти так же непробиваем.

Дело в том, что Матвей Абрамович принял меня неохотно. К нему то и дело входили, раздавались требовательные звонки, так что я долго не могла произнести даже первой фразы, которую заготовила заранее, чтоб сразу настроить его на доверительный лад. Вместо этого я вдруг выпалила:

— Послушайте, выключите наконец телефон и закройте дверь! Дела, которыми вы так озабочены, забудутся через день. А то, о чем мы с вами будем говорить, принадлежит истории.

Он посмотрел на меня удивленно и вдруг примолк.

Без деловитой оживленности Матвей Абрамович казался старше и умиротвореннее.

— Нет, я как раз помню Гагарина очень хорошо, — проговорил он, вздохнув. — Я ведь его в первый день чуть с завода не выгнал!

Дело было так. Аркинд, тогда начальник литейного цеха, — двадцать семь лет провел он в литейке! — шел по двору и вдруг заметил непорядок. У входа в цех, у распахнутых настежь широких дверей, откуда тянуло тяжелым дыханием и запахом разогретого чугуна, он увидел стайку молодых рабочих, столпившихся вокруг двух франтоватых, незнакомых ему юношей.

— В чем дело?! — прикрикнул он. — Немедленно по местам! Вы кто? Практиканты? Если думаете так начинать свою практику, то я вас и в цех не впущу.

Они быстро побросали папироски и, свесив головы, пошли следом за Матвеем Абрамовичем в его контору, или кабинет, как угодно назвать можно было этот закуток...

— Я думаю, из него бы получился хороший литейщик, — с оттенком неодобрения ко всему последующему проворчал Матвей Абрамович. — Мне лично жалко, что он пошел не по нашей стезе. Я к нему присматривался и уже подумывал было совсем оставить. А у нас на «Вулкане» кто раз приходит, тот уж по другим работам не бегаёт.

Наверно, это правда. Ведь и нынешний молодой начальник литейного цеха, Николай Иванович Горбатенко, прошел почти тот же, гагаринский путь: кончил ремесленное, работал формовщиком, был технологом, мастером. У «вулкановцев» я замечала общее — очень симпатичную гордость своим заводом, собственной работой и вообще тем местом на земле, которое они занимают. Зависти к каким-нибудь другим профессиям, даже космонавтским, я в них не обнаружила.

Юрий поселился в общежитии в доме № 37 по Большому проспекту. Это старый петербургский дом красно-шоколадного цвета, с двумя фронтонами и чахлым садиком о пяти деревьях у входа. Окна трех этажей — нижние вровень с тротуаром — забраны решетками. Возле морщинистого огромного тополя с зеленоватой корой, наверно, не раз останавливался Юрий, возвращаясь со смены или после блужданий по городу.

«Первые дни я со своим товарищем Федором Петруниным ходил по Ленинграду, охваченный небывалым восторгом... — напишет он потом. — Мы ходили к Исаакиевскому собору, фотографировались у памятника Петру Великому. Федя декламировал:

О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте уздой железной
Россию поднял на дыбы?»

Стояла ненастная погода, и упругий порыв ветра был подобен удару волны. Перед ними возвышался серый, как вода Балтики, камень в гранях падающих слоев. Бешеный скак коня странно контрастировал со спокойной державной ладонью... Облака, бегущие от Невы, словно продолжают вечное движение вперед, безмолвный бег Медного всадника. Плащ Петра падал за спину на круп коня; колено стиснуло косматую попону; под копытами издыхающая змея — и бездонный обрыв в океан воздуха!

Сначала они обежали памятник вокруг, смеялись и разговаривали громко. Потом смолкли, отошли в сторону, все еще не спуская глаз с темного гордого силуэта, чело которого не омрачено раскаянием...

Туча ползла уже под копытами коня, как убегающая земля. Может быть, Юрий подумал в этот миг душев-

ного откровения, что тот же удар невидимой волны оmyвает и сегодня подножие нашей России — утеса, с которого виден весь мир?..

Они медленно, то и дело оглядываясь, отошли от Медного всадника и вскоре вновь остановились уже перед громадой Исаакия, с трудом разбирая над входом выпуклую вязь надписей: «на тя господи уповахом да не постыдимся во веки».

Ранним утром солнце неспешными волнами оmyвало ступени храма. Исаакий был величав. Казалось, мимо его каменных ребер ощутимо движется материальная струя времени, как особый вид энергии, осязаемый на ощупь...

Юрий был еще слишком молод и жизнерадостен, чтоб увидеть в этом городе с его историей, в скоплении прекрасных строений также и трагическую красоту, которая проходит так высоко над тобой, как крыло птицы... Он не ощущал себя одиноким среди бесконечных шеренг колонн, фронтонов, лепных карнизов, дремлющих сфинксов, парапетов, неподвижно скачущих коней.

Возвращаясь в общежитие поздним вечером, он, невольно замедляя шаг, жадно смотрел на узкое зеркало канала. Звездчатые купола Спаса-на-крови и овал центральной фрески — золото, лазурь — повторялись в воде более строго и мрачно, чем в неплотной стихии воздуха. Вокруг струилось зеркальное небо, ограниченное решеткой парапета.

В поздний час город казался пустынным и гулким, словно он населен кариатидами, а не людьми. Их каменные лица были настолько выразительны, что совсем не составляло труда вообразить, как они тяжело и бесшумно спускаются на тротуары, прогуливаются по городу, без любопытства рассматривая новые здания и отстраняя случайных прохожих равнодушным жестом.

Бронзовые копыта многочисленных коней, обитающих теперь лишь в четвертом измерении, не нарушая глухоту наших ушных перепонок, резво бьют по камням. Кони Клодта, на время сорвавшись с узды, гарцуют вдоль Невского, и Петр медленно объезжает заложенный им город.

Перекликаются ли эти медные кони между собою ржаньем? Или лишь безмолвно наслаждаются скачкой, разминают затекшие мускулы, слизывают паутину, словно пыль, со своих боков, а их всадники отряхают прах дней с железных складок одежды?..

И все-таки этот город принадлежит больше будущему, чем прошлому!

Юрий ощущал это по биению растревоженного сердца, по собственной молодости, которая рвалась вперед.

Ленинград нагнетал в него свою красоту, как насос: еще больше, еще теснее... Но он не задохся, потому что хранил защитную атмосферу юности. Юность берет от окружающего ровно столько, сколько может переварить.

И хотя Юрий потом вспоминал, что после поездки он стал «сразу взрослее и духовно богаче», — Ленинграду суждено было стать в его жизни впечатлением хотя сильным и прекрасным, но ничего существенно не изменившим.

Склонности Гагарина оставались прежними: его все явственнее томило предвкушение полета.

ПЕРВЫЕ КРЫЛЬЯ

Юношеские увлечения очень важны. Именно тогда определяется, пассивная или активная натура у человека, далеко ли он пойдет и на чем остановится.

Юрий был небольшого роста, но он захотел стать не просто спортсменом — баскетболистом!

— Если б вы видели, — сказал бывший военный летчик, наставник Юрия в аэроклубе, Сергей Иванович Сафронов, — если бы вы видели, как он посылал мяч из середины круга да прямо в корзину!

Я пытаюсь представить это единоборство с мячом: испытание себя на упорство. Мяч, летящий прямо в лицо. И зоркие, ожидающие, торопящие его глаза; правая мышца, готовая вскинуть руку, неотразимую в ударе. Победа! Мяч в корзине.

Юрий увлекался спортом упоенно и в то же время методически. А вместе с тем легко, без болезненного самолюбия и стремления добиться первенства любой ценой.

В натуру этого юноши самой природой был вложен прочный, долговременный механизм, как бы точные часы, которые размещали по своим рубрикам и делу время, и потехе час. Он готовился к жизни плодотворной, долголетней. Внутри его ничто не пропадало; он накапливал и накапливал, чтобы потом начать отдавать.

Вот что рассказал Владимир Павлович Каштанов, методист-инструктор аэроклуба, пятидесятилетний крепыш, загорелый, подвижный.

— Я Гагарина помню еще до аэроклуба по волейбольной площадке в Детском парке. Каждый вечер ходил туда играть в волейбол. Я и сейчас люблю с молодежью мяч покидать, а тогда дня не пропускал. Он тоже спортсмен заядлый; мы друг друга сразу приметили. Слышу, он спрашивает: «Откуда, мол, этот загорелый дядька?» Я подхожу, отвечаю: «Из аэроклуба». Ребята меня окружили: «Где тут аэроклуб? Кого принимаете?» Обычно перед набором мы сами ходили по заводам, техникумам, школам, рассказывали о профес-

сии летчика, о задачах аэроклуба. Правда, как раз директор индустриального техникума Сергей Иванович Родионов был против того, чтоб у него выпускников переманивали, ход нам был туда затруднен, так что приезжие ребята могли действительно ничего не знать. Представляете, с каким удовольствием я вел свою полуподпольную агитацию!

Владимир Павлович из тех немногих старых летчиков, которые работают с самого основания саратовского аэроклуба. В двадцать восемь лет Каштанов уже вышел в отставку, а войну прослужил в гвардейском летном полку. Главное его дело было связь с партизанами: снабжение их, вывоз на Большую землю.

Случались и такие истории, когда однажды в темноте просигналили ему посадку на лесную просеку, он снижает самолет и шестым чувством чувствует, что что-то не так, не партизанская обстановка. И люди, хоть не видно ни одежды, ни лиц, но манеры, походка, само звучание голосов насторожили. Так он с ходу и рванул свой самолет обратно в воздух. Оказалось, в самом деле немцы захватили у партизан их код и тут, на лесном потайном аэродроме, думали голыми руками взять советского летчика.

Каштанов закончил войну в Берлине, но еще некоторое время служил в ГДР уже на мирном положении: возил почту, выполнял хозяйственные работы, доставлял пассажиров. Пока не осел окончательно в Саратове, на учебном аэродроме ДОСААФ.

Вокруг этого аэродрома — дубрава. Дуб растет медленно, живет долго. Нынешняя дубравка поднялась от старых спиленных стволов, она молода и хоть тениста, но невысока.

Посреди поднятого метров на полтора над Саратовом плато с засеянными, а чаще пребывающими в девственно-выжженном состоянии холмами, где пыль-



ПЛАНЕТА
ЕСТЬ КОЛЫБЕЛЬ
РАЗУМА,
НО НЕЛЬЗЯ ВЕЧНО
В КОЛЫБЕЛИ ЖИТЬ.



ные придорожные травы так жестки, вдруг возникает уголок тени и птичьего щебета. Колодец со сладкой леденистой водой, несколько домов серого кирпича да отара брезентовых палаток. На летном поле в полуденном зное присевшие ненадолго зеленые вертолеты, как всегда до смешного похожие на больших стрекоз. И учебные самолеты с крупными, уже несколько выцветшими под солнцем номерами.

Видимые же следы перемен только в том, что выросло каменное новое двухэтажное здание, да «Методический городок», ранее примыкавший к летному полю, так что самолеты были тут же, на виду, за стволами десятка осин, контрабандно втершихся в дубраву, теперь перекочевал на другую сторону, ближе к проезжей дороге.

Но до сих пор в благодатной тени под дубами беспорядочно теснят друг друга гигантские лопухи величиною со слоновьи уши; дикая конопля со своим пьяным терпким запахом; крапива, подстерегающая у тропинок; сумрачный чертополох и горько-сладостная полынь.

«Методический городок» окружен низким палисадом в две поперечные досочки именно от нашествия этих сорных растений, а не от людей, потому что перешагнуть его курсантским сапогам ничего не стоит. Круговая скамейка человек на шесть-семь, перед нею наклонный столик с фанерной крышкой — на ней, как всегда, нацарапаны фамилии и имена, красуются чернильные рожицы. В нескольких шагах, перед аудиторией, на стволе дуба — грифельная доска с нестертыми меловыми фигурами. А перед доской такой же фанерный с чурбаком-подставкой стол инструктора величиною в развернутую газету. Место занятий каждой группы всего лишь несколько квадратных метров. У соседнего дуба — другая доска и другие скамейки.

Но главное место — это прямоугольник, засыпанный песком и ограниченный рамкой из кирпичей: шесть кирпичей в длину и пять в ширину. Если встать посредине, то раскинутые руки как раз и пересекут воображаемый аэродром по диагонали.

Крошечный слепок аэродрома — место занятий на сорок восемь учебных часов. Владимир Павлович Каштанов кладет окурочек на землю, прикладывает к нему ветку — получается посадочное «Т». Самолет — зеленый лист — огибает окурочек против часовой стрелки, взлетает, поднятый его рукой, и делает круг, который скорее не круг, а четырехугольник «коробочкой»: прежде чем сделать разворот, летчик привычно отмеряет глазами угол в 45 градусов относительно посадочного «Т»; проходит следующую прямую, снова ориентируется на выложенный знак, поворачивает, а все вместе это составляет круг над аэродромом, первое упражнение курсанта. Полет занимает шесть минут.

На сто две минуты меньше того победительного круга, которым впоследствии Гагарин опоясал планету. И до этого часа было уже не так далеко.

Пока же он вместе со всеми стоял перед жестяным щитом, где большими желтыми пятнами были обозначены зоны полетов. На этом плане можно было увидеть и черные палочки городка, и синий лоскут Волги с косичками впадающих в нее малых рек...

Видимо, стезя индустрии не привлекала Гагарина с самого начала. Он учился хорошо, потому что все делал хорошо, но нравилось ему что-то другое. Что именно? Как было узнать, не испытал? Его тянули к себе порядок, четкость и возможность более убыстренного движения по жизни. А его страсть к нагрузкам, каждый раз чуть превышающим сегодняшние силы, оставалась неизменной во все времена.

Об этой страсти впервые рассказал мне летчик

Мартьянов, которого газетные репортажи в триумфальные апрельские дни 1961 года броско окрестили «первым учителем космонавта».

Но мне кажется, что значение Мартьянова прежде всего в том, что Юриному желанию летать он придал необходимую душевную наполненность. И сделал это не путем занятий, а собственной личностью.

У Мартьянова спокойные, прямо смотрящие глаза, присоленные ранней сединой гладкие волосы (сорок ему еще только исполнится), твердый рот со слегка извилистой верхней губой, что придает лицу выражение и легкой ироничности, и какого-то особого доброжелательного внимания. Он вдумчив, прямолинеен в суждениях и, должно быть, где-то в глубине души мягок и горд.

Из своих первых курсантов двадцатидвухлетний инструктор запомнил тогда больше всех некоего Лобикова: этот Лобиков тяжело ему достался! Правда, и он стал в конце концов пилотом Гражданского воздушного флота (летчики говорят просто: ГВФ), но страх перед перегрузками остался у него надолго. И в этом была вина неопытного инструктора.

Быть как можно дольше в воздухе мыслилось ему всегда наслаждением. Подняв новичка в воздух, он и его продержал там не двенадцать минут, как положено, а все пятьдесят. Беднягу Лобикова укачало так, что он почти потерял сознание.

О безвестном своем курсанте Дмитрий Павлович вспоминал теперь не реже, чем о Гагарине, — и мне тоже понравилась в нем эта черта: коль скоро он говорил о своей работе, то на первый план им ставилась точность. Лобиков и Гагарин остались в его памяти как две полярные курсантские личности.

Гагарин появился в группе уже четвертого мартьяновского набора, когда Дмитрий Павлович был намного опытнее, хотя по возрасту их с Юрием разделяло все-

го три года. Осенью в начальные дни занятий Мартьянов, как это было положено в аэроклубе, обошел дома своих курсантов. Юрия он застал в большой комнате общежития: тот сидел на кровати и читал книгу и тоже показался ему поначалу слишком щуплым и малокровным. Впоследствии Мартьянов понял, что впечатление это обманчиво: Гагарин был очень выносливым юношей, как в воздухе, так и на земле. (Волейбольная команда под его капитанством выступала против сборной всего аэроклуба.)

Еще зимою, в классах, Мартьянов отметил про себя особую сообразительность Юрия. К тому же тот был аккуратен, никогда не опаздывал, не пропускал ни одного занятия; в общем, инструктор решил, что это самый подходящий староста для группы.

Однако сам он бывал и суров, и даже резок с Юрием: «Ты не угадывай, чего я хочу, а сам соображай!»

Летчик должен воспитывать в себе самостоятельность: наедине с небом ни авторитетов, ни шпаргалок не будет. Это Мартьянов знал твердо.

Понравился ему Гагарин по-настоящему весною, в апреле, когда у Дмитрия начались собственные тренировки и — что скрывать! — лучшее для него время. В один из таких полетов взял с собою старосту группы: пусть, мол, приглядится, покачается... Но гагаринская жадность к воздуху, к полетам не уступала мартьяновской! Никакие виражи не утомляли его. Напротив, как вспоминает Дмитрий Павлович, Юрий словно находил особое удовольствие в растущих перегрузках, ему было все мало и мало...

Тогда же оба молодых человека сговорились о маленькой хитрости: зная, что Юрий опоздает к аэродромной практике, потому что в это время у него будет защита диплома, Дмитрий уже сейчас иногда передавал ему управление самолетом.

На рассвете воздух совершенно тих, это лучшее время для полетов. Чтобы попасть на аэродром вовремя, Юрий спал с вечера не более двух часов, а после полуночи уже дежурил на пустой улице возле ограды массивного особняка аэроклуба, чтоб не пропустить служебный автобус.

Немногословный Мартянов замечал все, хотя и не хвалил за рвение; ему казалось естественным, что для будущего летчика нет ничего важнее неба...

Не верьте тому, что великие события происходят в обыденные дни! Счастливые дни, особенные от восхода и до заката. Они преображены нашим ускоренным сердцебиением. А что значит, когда шибче бьется сердце? Это означает, что быстрее крутится весь земной шар.

И такой день выпал Юрию Гагарину в поле, под Саратовом, вблизи выжженного солнцем бугра и на виду у разметавшейся Волги, словно она была великаншей и вот устала от жарких полдней и упала навзничь с веселым смехом посреди трав и лесоз.

Впервые оторвавшись от земли — уже в одиночку, а не с инструктором, — сменив свой извечный человеческий горизонтальный путь на внезапный птичий, вертикальный, Гагарин ощутил захвативший его целиком восторг. Несмотря на всю свою собранность и внимание, он жил несколько секунд как во сне.

О, эти первые сотни метров, такие же удивительные, как впоследствии его рывок в космос! С лихвой окупилась долгие зимние вечера в аэроклубе, когда он терпеливо повторял про себя правила самолетовождения, чертил схемы крыла, подходил к мотору — настоящему авиационному мотору, но только водруженному на стол в учебной комнате, — или же в кабине тренажера десятки раз переживал миг взлета как бы вчерне, в воображении; ручку потянуть на себя, нос самолета приподымется, отрываясь от взлетной полосы...

И все-таки именно к исходу этих фантастически прекрасных шести минут Юрия подстерегала столь крупная неудача, что она чуть было не изменила весь его дальнейший жизненный путь. (Основываюсь на рассказе очевидца. Хотя другие готовы опровергать его. Согласимся на том, что это одна из версий.)

Но сперва придется отступить несколько назад в Юриной биографии и одновременно забежать немного вперед в моих собственных впечатлениях.

Я стою на балконе восьмого этажа гостиничного номера в Саратове и жду летчика Гундарева. Сверху люди несколько коротковаты; они катятся будто резиновые игрушки на роликах. Ловлю себя на том, что высматриваю все еще курсанта аэроклуба; может быть, он вон в той полосатой майке?.. Но время прошло, время ведь идет так быстро, и надо, вероятно, останавливать взгляд на макушках, тронутых плешинкой...

И все-таки я великолепно ошиблась! Вошел человек молодой, с гладкой осмугленной кожей, черноволосый, легкий на ногу, в голубой рубашке с накладными погончиками и с темно-зелеными шальными, смеющимися глазами. Совсем немного нужно было, чтобы протянуть ниточку от него, сегодняшнего летчика, налетавшего девять тысяч часов («Сколько это в километрах?» — «А вы помножьте»), до бывшего курсанта, впрочем, и тогда отличавшегося от остальных своими знаниями: он уже отслужил в летной части, и когда другие начинали с азов, вполне прилично держался в воздухе.

Он, так же как и Гагарин, опоздал к аэродромной практике: один защищал диплом в техникуме, другой кончал вечернюю школу и работал на заводе. Но путь Гундарева был выбран, завод — лишь перевалочный пункт — он поедет в летную школу! Что о том же мечтает тезка Юра Гагарин, он, естественно, не знал. Он вообще его тогда не знал, кроме как в лицо: тео-

ретические занятия новичков Гундарев посещал редко, он налегал на десятилетку; без среднего образования в летную школу не примут.

В аэроклубе его назначили старшим группы. Это был лихой и не всегда выдержанный человек: сила и озорство кипели в нем, как в котле, вперемешку. Однако на Гагарина он «положил глаз» безошибочно. И, пользуясь своей властью — пользуясь ею опять же с обычным шутливым и откровенным удовольствием, — собрал парней на лужайке, а Гагарину сказал: «Ты будешь комсоргом».

Тот не стал спорить: «Да я, да у меня...» Ответил: «Хорошо». — «А раз так, — сказал Гундарев, — то и води собрание».

Собственно, и комсорг и собрание были «дикими»: официально в райкоме такой организации не значилось. Курсанты состояли на учете при своих заводах, в своих школах; туда платили взносы, там получали поручения и нахлобучки. Но, коль скоро собралось шестьдесят парней, шестьдесят комсомольцев, нужно было ввести какой-то порядок. Так Юрий стал комсоргом.

Летать они начинали очень рано: в пять утра, а иногда и в четыре. Засыпали и просыпались все в разное время. В восемь вечера, когда летом, в июле, солнце еще светит вовсю, часть палаток затихала: молодые не знают бессонницы, сон одолевает их одинаково и при луне, и при солнце.

Но два Юрия — старший группы и комсорг — позволяли себе задерживаться после отбоя, они забирались в беседку и говорили о будущем. Оба хотели стать летчиками-испытателями. Путь лежал через Оренбургское летное училище. Вот они и раздумывали, как окончат аэроклуб здесь, как выдержат экзамены там...

Курсанты перебазировались на аэродром в двадцатых числах июня. Гагарин задержался в городе не по своей

вине, его не отпускал техникум: там настаивали, чтоб он ехал на место своей будущей работы не мешкая. Только через военкомат удалось вырваться и Юрию. Но его товарищи уже начали летать. Каждый день полетов стоил больше, чем месяц подготовки в учебной комнате. Поэтому, все зная в теории, отставший Юрий никак поначалу не мог освоить посадку. Дело повернулось так скверно, что и командир звена Герой Советского Союза Сергей Иванович Сафронов, и сам командир Анатолий Васильевич Великанов, тоже бывший боевой летчик, пришли к негласному мнению отчислить Гагарина. Времени для отдельных занятий с ним просто не было. Правда, это не было еще скреплено рукой начальника аэроклуба Денисенко, хотя шло к тому.

И тут как не вспомнить добрым словом начальника летной части Константина Филимоновича Пучика.

Вот что я знаю со слов Великанова об их разговоре. Но несколько строк о самом Анатолии Васильевиче Великанове. Когда я встретила с ним, он выглядел удивительно штатски: пиджачок, очки, тихий, несколько тягучий голос.

Сергей Иванович Сафронов в тот день водил меня по пустым классам аэроклуба ДОСААФ. Я уже почти все знала о его громком и славном военном прошлом, о шестнадцати сбитых самолетах, об именном самолете, подаренном колхозниками села Богаевка. («Я сбил на нем шесть вражеских машин, другие ребята тоже; всего восемьдесят. Так что оправдали колхозный подарок! А один из них я сбил на глазах маршала Жукова и того старика, который передавал нам эти самолеты...»)

Возле одного класса Сафронов послал за кем-то, чтоб дверь отомкнули, мы вошли, а на краешек скамьи присел с ключами незнакомый мне человек. Он слушал молча, но с живейшим интересом, глаза его взблескивали под очками.

— Да вот Анатолий Васильевич это тоже знает, — адресовался к нему Сафронов. — Сам был летчик виртуозный! Помнишь, Анатолий Васильевич?

Тот кивнул. И с этой минуты я стала приглядываться к нему внимательнее. Потом уже, узнав его хорошо, я особенно оценила, как этот опытный, тонкий, проницательный человек не постыдился сознаться, что в случае с Гагариным его интуиция дала промашку.

— Анатолий Васильевич, — сказал ему тогда Пучик. — Сколько лет мы с тобой уже сажаем парнишек на самолеты. И разве был хоть один случай отчисления? Что же мы будем с этого-то начинать? Ведь, говоришь, он толковый, ну так и полетай с ним сам. Мартьянов у нас лихач, не всем его тактика прививается. Попробуй иначе, а?

— Попробую, — отозвался Великанов со вздохом.

И случилось небывалое: на следующий день с курсантом Гагариным в воздух поднялся не инструктор Мартьянов, даже не командир звена Сафронов, а сам Великанов. Это не могло не вызвать тревогу, хотя внешне Юрий был, как всегда, собран и внимателен.

Чтоб восхищаться человеком, нужно немного: видеть результат его труда, знать о его подвиге. Подвиг Гагарина был столь ошеломляющ, что это уже одно могло вобрать в себя и его личность, и всю предыдущую двадцатисемилетнюю жизнь. Гагарин получил бесспорное право на восхищение.

Но уважение завоевывается иначе. Оно складывается из уймы дней и множества поступков. Чтобы человека уважать, надо видеть его во всех положениях: и то, как выходит из состояния испуга или слабости, и на что сердится, и от чего быстрее всего устает (кстати, как вспоминал сам Гагарин, уставал он от неподвижности: «Сидеть часами на одном месте не мог»).

Теперь, в воздухе, ему слышался не командный,

а по-домашнему успокаивающий, тягучий голос Великанова:

— Начнем тренировку с определения высоты. Сейчас мы находимся на высоте двенадцати метров. Как считаешь: пора выравнять?

Он рискнул возразить:

— Это высоко.

— А значит, ты чувствуешь, что высоко? Тогда подведи самолет чуть ниже. На семь метров. И производи посадку.

Потом я спрашивала нетерпеливо и Анатолия Васильевича, и Юрия Гундарева:

— Каким он был в эти дни? Неужели не нервничал? Не обмолвился ни разу каким-нибудь досадливым восклицанием? Не чертыхнулся хотя бы!

Тезка отрицательно мотал головой. Среди курсантов не были в моде душевные излияния; они говорили только о необходимом или о второстепенном.

Великанов, обладавший большим психологическим опытом, надолго задумался.

— Разве вот только вечерами... — неуверенно промолвил он.

Вечерами, когда все шли спать, Юрий старался остаться один. Надо же было уяснить себе, как происходят с ним эти ошибки. А понять можно только наедине.

В прозрачной темноте, на пустом поле, где странными птицами виделись безмолвные самолеты, когда даже Жареный бугор стал прохладным и влажным от росы, Юрий тихо, нога за ногу, шел без цели, и его зубы были сжаты. Он обязан побороть в себе это проклятое напряжение, эту скованность мускулов, иначе отодвигалась, рушилась его мечта... Впрочем, нет, он не только мечтал, он хотел стать летчиком... Он хотел этого так же непоколебимо, как четыре года назад во что бы то ни было хотел учиться в техникуме. Ему ведь

не перед кем отчитываться: если бы он остался литейщиком, мать была бы вполне довольна.

Задавался ли он сам вопросом, почему ему этого мало? Не размышлял ли в ту светлую ночь на летном поле возле неподвижных самолетов, что ведь можно бы и ему остановиться, смириться с уже достигнутым — и пусть летают другие?

Компанейский парень Юрка Гагарин старался в те вечера остаться один...

Нет, он не был домом с распахнутыми дверями, куда можно было входить каждому. Рискую привести другое сравнение: он напоминал скорее маленькую крепость, ворота которой распахивались часто, но не всегда. Я не даром потом добивалась у всех: не был ли он немного скрытным? Чувствовалась, что его характер не так уж прямолинеен, как казалось со стороны. Радостная юношеская улыбка не исчерпывала душевного арсенала Гагарина.

И, чтоб уже перевернуть эту страницу, закончим ее воспоминанием инженера аэроклуба Егорова:

«Раннее утро. В самолете за № 06 сидит Гагарин. Он ждет, когда А. В. Великанов, руководитель полетов, разрешит ему подняться в воздух. «Добро» получено. На сиденье кладут балласт, мешок с песком. Самолет, управляемый Гагариным, выруливает на линию старта. Машина плавно отрывается от земли, поднимается все выше и выше. Еще один курсант пошел в воздух, еще одним летчиком стало больше».

ОРЕНБУРГСКИЕ ЛАНДЫШИ

И вот пришел этот день, когда им, выпускникам аэроклуба, вручили железнодорожные билеты до Оренбурга. Кроме нескольких человек, получивших направ-

ление в другое летное училище, все они были тут и заняли чуть не целиком плацкартный вагон.

Бывалые путешественники — вроде Юрия Гагарина, который с пятнадцати лет на колесах, да его тезки Юрия Гундарева, побывавшего на действительной службе, — устраивались на полках как полагается: по ходу поезда. Но были и новички, впервые оставлявшие родительский кров. Им не хотелось признаваться, что вокзальный шум и терпкий, специфический запах вагона одурманивали, вызывая попеременно то робость, то бурный прилив надежд. Скорей бы покинуть знакомый город, оторваться от его корней и, как тополиное семечко, полететь по ветру!

Поезд отошел до наступления сумерек. Кончались последние дни сентября, обильного яблоками. Двадцать четвертого им подписали дипломы.

Как и предыдущие свидетельства, которых у Юрия уже накопилось порядочно, и этот диплом казался ему пропуском в очередную перемену. «Самолет — отлично; мотор — отлично; самолетовождение — отлично»... Отличное самолетовождение нелегко ему далось. Он вовсе не ощущал самолет «своим продолжением», как пишут обычно о летчиках. Стальные руки-крылья не были его руками, а пламенный мотор не стучал в ритме сердца.

Вместе со всеми и он пел эту вызывающе-звонкую песню в строю, когда курсанты аэроклуба шли от палаток к столовой, но в воздухе отношения человека и машины усложнялись. Они напоминали скорее единоборство. Самолет послушен человеческой руке, но только если она бестрепетна. «За самолетом надо следить в оба», — говаривал Великанов.

И все-таки самолетовождение у него отличное. Это написано черным по белому. Юрий лежал в затихшем вагоне. Его взгляд встретился с бедовым зрачком Гун-

дарева. Тот свешивал черноволосую голову с верхней полки. А на соседних полках уже спят...

— Едем? — прошелестел одними губами Гагарин.

— Едем! — так же беззвучно отозвался второй Юрий. Они понимали без слов: мечты начинают сбываться!

Но в Оренбурге, где их никто не встретил на шумном вокзале, они не то чтобы растерялись, но малость притихли. Надо было найти сначала дорогу к военному авиационному училищу летчиков. (Название выучено давно и без запинки.)

Гурьбой, с чемоданчиками на весу, они переходили от улицы к улице, читали таблички незнакомых переулков, пока не очутились перед большим старинным домом из красного кирпича, загнутым буквой «П». Совсем рядом, через сквер, под обрывом, текла река Урал. Разве они не слышаны о ней с детства?

Урал, Урал-река!
Шумлива и глубока!

На этой стороне — Европа, на другом берегу — Азия.

Но глазеть недосуг, они еще насмотрятся. В своих штатских пиджаках и брюках навывпуск, хотя и налетавшие по двенадцати часов, сдавшие мотор, аэродинамику, и прочая, и прочая, они почувствовали себя неуютно в длинном коридоре, через который деловито пробегали подтянутые юноши в зеленом. Несколько дней, пока сдавались экзамены, новички мужественно старались не замечать разницу.

Но настал желанный, нетерпеливо ожидаемый ими час, когда их чубчики и шевелюры попадали под ножницы цирюльников, когда после бани они шли уже преображенными в сапогах и гимнастерках с латунными птичками на погонах. Им дали попервоначально довольно много времени, чтобы намотать портянки, при-

шить воротничок, потому что военная служба начинается с опрятности.

Первые месяцы проходили вдалеке от аэродрома: они прилежно зубрили устав, занимались тактическими учениями.

Ранняя осень сменилась поздней. Уже отпылали деревья, и все чаще перепадали зябкие дожди. Мокрые листья прилипали к сапогам, когда учлеты шли строем по деревянному мосту через Урал. И хотя раздавалась предостерегающая команда «Не в ногу!», им было трудно сдерживать ликующее чувство единства, когда подошвы так крепко отщелкивают шаг, а руки ладно, красиво взлетают в такт движению.

Строй рассыпался лишь на том берегу. Тогда жидкий лесок Зауральной рощи оглашался гомоном: кричали «ура!», бегали в атаку.

Несмотря на повторяемость, каждый из этих дней был по-своему дорог Юрию Гагарину. Он постоянно помнил, что живет в осуществившемся желании. Засыпал и просыпался с отчетливым ощущением удовольствия. И от серебряно-туманных на позднем рассвете высоких окон, и от первых белых мух над крышами.

Кроме того, он готовился вот-вот вступить в самую яркую человеческую радость — в любовь...

Город нашей любви так же значителен в памяти, как и тот, в котором мы родились. От него начинается иной отсчет времени. Хлебный, мукомольный степной Оренбург запал в память Юрия своим не обыденным, а поэтическим обликом. В тот первый день на юру возле училища его глаза будто утонули в голубоватой протяженности степи, реки, Зауральной рощи. Он еще не знал, что в иные весны рощу затапливало: вешние воды подымались тогда до самых чердаков; он еще не видел, как летом вокруг города штопором закручивались внезапные смерчи и пыль вытягивалась узким столбом.

И даже яростная короткая весна еще ни разу не обрушивалась при нем на степь и палисады. Сначала разноцветными мелкими тюльпанами — розовыми, желтыми, красными, белыми; казашки продавали их корзинами по всему городу, а затем сиренью, которая и расцветала, и успевала отцвести, казалось, за одни сутки. Так же коротко, но прекрасно цвели ландыши; крупные, с ноготь, в полнокровных прохладных листьях. Им все приезжие удивлялись: откуда бы взяться таким гигантским бубенцам в редких перелесках, на топких полянах?..

Многое в Оренбурге было непривычно для Юриного глаза. Тюльпаны называли здесь подснежниками; дворы мели жесткими, как проволока, чилиговыми вениками. На сенной рынок приезжали из степи казахи с меховыми малахаями на головах, казашки в плюшевых безрукавках-жилетах, повязанные цветными платками. У казахов были дубленные ветром лица; летом сильно и сухо дышала на город степь.

Когда начиналась жатва, по улицам шли днем и ночью грузовики с прицепами. В год приезда в Оренбург Юрия область получила орден за большой хлеб. Старинный город с 1743 года нес охранную службу уральских горных заводов. Но также служил и стыком торговых связей Европы и Азии.

Свою давнюю историю имели рабочие-паровозоремонтники: с оружием в руках они боролись против белогвардейского генерала Дутова.

А училище, куда попал Гагарин, встречало новичков прежде всего портретом великого летчика нашего времени Валерия Чкалова — его имя носил тогда город.

Первая оренбургская зима на радость лыжникам легла сразу глубоким снегом. Начались азартные кроссы. Уже замаячила невдалеке новогодняя елка с ее праздничным увольнением, танцами в медицинском училище... Но прежде будущие летчики принимали прися-

гу: «Я, гражданин Советского Союза...» Теперь они уже точно знали, что невидимая «военная косточка» вкоренилась в их позвоночники и будет только твердеть и твердеть.

Здесь мне кажется уместным оговориться. По разным поводам применительно к Гагарину обильно употребляются эпитеты «скромный», «застенчивый», «смущенный». Сложившись в некую сумму, они могут вызывать образ тихони и паиньки, что никак не соответствовало действительности. Напротив, Юрия отличала внутренняя уверенность в себе, словно он всегда был убежден в счастливом исходе любого дела, за которое брался. А смущенным, ошарашенным, растерянным он вообще бывал чрезвычайно редко. Даже получив тройку («первое мое личное чепе»), он хоть и «похолодел», но тотчас трезво объяснил себе, что отметка выведена справедливо. (Так же, впрочем, как через несколько дней справедливо исправлена им на «пять».)

Для подтверждения этой гагаринской черты — уверенности и несмущаемости мне кажется очень любопытным рассказ преподавателя А. Резникова (кстати, «автора» этой самой тройки). Он припомнил такой случай:

— Однажды, войдя в класс, я увидел плотный табачный дым. У стола стоял Гагарин с зажженной папирсой и небольшим агрегатом двигателя в руках. «Что это значит?» — строго спросил я.

Вокруг наступила мертвая тишина. Гагарин покраснел, но не от смущения. Он был похож на увлеченного чем-то человека, которого вдруг ни с того ни с сего оторвали от дела.

«Разрешите доложить, товарищ подполковник. Я изучаю топливный насос двигателя». Тон у Гагарина был явно обиженным. «Здесь полно каналов насверлено, они идут во все стороны, а куда и как — понять трудно. Приходится запрещенными методами действовать, чтобы

яснее было. В одно отверстие дунешь и сразу видишь, откуда дым выходит...»

У подполковника хватило находчивости под любопытными-ожидающими взглядами курсантов отшутиться: мол, лучше бы все-таки столь оригинально найденный способ испытывать в курилке.

Нет, Юрий не трусил внезапных выговоров и не старался уклониться от чего-то неприятного, что могло ожидать его в разговоре. Он не робел докопаться до сути запутанной коллизии, хотя бы она привела в конечном счете к признанию собственного промаха! И это тоже подтверждают многие.

1956 год прошел в полетах. Сначала на том же Як-18, а потом и на реактивных МиГх.

Гагарин и его друзья полностью вкусили упоение полетом. Небо поворачивалось во всех ракурсах. Как далеко ушел Юрий от наивной «коробочки» над травяным аэродромом ДОСААФ! Теперь он безбоязненно бросал машину и свое собственное тело в штопор, в вихревое крутящееся падение, когда скорость, которая одна лишь и поддерживает крылья, становится критически низкой, зыбкий воздух проваливается под тобой, словно летишь в открытый люк. А потом острое чувство освобождения и победы, чувство абсолютной устойчивости в упругом небе на крепких воздушных слоях, надежных, как земная кора.

В работе летчика есть одна особенность, недоступная воображению у нас, на земле: иной отсчет времени. Мы живем часами, реже минутами, в меньшее время нам просто не уложиться. Для летчика осязаемо существуют секунды и доли секунд. За кратчайший этот отрезок он обдумывает ситуацию, принимает решение, работает.

Летчик живет на сжатом времени. Он выжимает все возможное не только из машины, но и из себя. Полная

нагруженность, может быть, более всего и привлекла Юрия в летчицком ремесле.

...Но вот настал день, когда чудо гагаринской жизни пришло со стороны. Почти неведомо для себя им стала маленькая девушка в голубом платье.

«Все мне понравилось в ней: и характер, и полные света карие глаза, и косы, и чуть припудренный веснушками нос... Горячева Валя».

Толчком к любви часто служит удивление. Человека охватывает оторопь: будто он шел, шел и споткнулся. А когда, пережив внезапную встряску, оглянулся, то все окружающее приняло совсем особый вид, наполнилось легкостью и простотой. Оказывается, не заметив, он вступил уже в иное измерение, в мир, составленный из радостных мелочей. Из ее пальцев, сейчас захладовавших. Из узких следов ботишков на тротуаре...

Познакомившись с Валей, тогда служащей телеграфа, а позже студенткой-медичкой, он очень естественно вошел и в ее семью. Дом на улице Чичерина стал любимым приютом на время увольнений не только для Юрия, но и для его товарищей. Уклад семьи Горячевых напоминал Юрию собственный дом. Он искренне восхищался хлебосольством Горячевых и кулинарным мастерством отца Валентины Ивана Степановича, повара по профессии.

Сватовство прошло со свойственной Гагарину обстоятельностью. На побывке в Гжатске Юрий сначала обговорил все с Анной Тимофеевной, получил ее материнское одобрение и лишь затем, вернувшись в Оренбург, сделал предложение, а после шумно отгулял свадьбу, совпавшую и с празднованием сороковой годовщины Октября, и с производством его в офицеры. Брак Юрий заключил именно в то время, когда становился полностью самостоятельным человеком. Аттестацион-

ные документы после выпускных экзаменов были уже подготовлены, и вчерашние курсанты, последние дни дохаживая с пустыми погонями, томились в «голубом карантине». Гундарев вспоминал посланную ему вскоре ликующую открытку: «Юрка! Я уже лейтенант!» (Гундарев учился в это время уже в другом училище и окончил его позднее.)

...И в то же самое время, будто дождавшись подросшего Гагарина, друг за другом стали взлетать на околоземную орбиту первые спутники! Скорость их — восемь километров в секунду — казалась пока недостижимой ни одному летчику...

ПРЕДЧУВСТВИЯ И ПЕРЕМЕНЫ

Перед тем периодом жизни Гагарина, который можно назвать «космонавтским» (о нем необходима отдельная книга, мы же будем вспоминать более коротко), лежали два года службы в Заполярье.

Он приехал туда по собственному выбору и поначалу без жены: Валентина доучивалась в Оренбурге. Поездом, а потом автобусом по заснеженной тундре поздно ночью добрались оренбургские выпускники до своего нового гарнизона. («Блестящие армейские лейтенанты, мы всем бросались в глаза, на нас поглядывали: что это, мол, за птицы залетели сюда, к студеному морю?»)

Стоял декабрь. Но это была не клушинская зима его детства — словно один длинный-предлинный день с румяными угольками на загнетке, с хлопьями снега, широкими, как ладонь, зима, которая опускалась в одночасье полушалком из козьей шерсти и укутывала деревню до подбородка — пушистая, солнечная.

Здесь зима была темна, будто закопченное стекло. Еще в поезде Гагарина поразило, что часы показывали

полдень, а в морозном тумане клубились голубоватые потемки. За Полярным кругом мгла сгустилась еще пуще. Снега призрачно вспыхивали в беглом свете прожекторов. Луч скатывался по твердому насту, который казался шершавым, словно неглазурованный фаянс. Черепки обледенелых камней попадались под ноги и звенели, отброшенные сапогом.

Молодых лейтенантов поселили в один из бревенчатых бараков. И здесь впервые Гагарина увидел Семен Дмитриевич Казаков, впоследствии один из близких друзей последних лет его жизни. Казаков был в тот день дежурным по части, и вот как он сам вспоминает это событие:

«С жильем у нас было небогато, а тут приехало много семейных. Скажу прямо, при виде молоденьких лейтенантов и их промерзших, пугливо оглядывающихся жен я порядочно растерялся. Кое-как распахал всех в учебных классах до утра. И все же одному офицеру места не досталось. Стоим решаем, как быть...»

В это время приоткрылась дверь в коридор: выглянул Гагарин.

— Давайте к нам третьего!

Казаков засомневался:

— Ведь только что сами вселились, да и комната на двоих...

— Ничего, мы койки сдвинем.

Всунули третью кровать и спали так, поперек их, несколько месяцев.

— С этого времени молодой лейтенант мне и запомнился. Его простое лицо, приветливая, дружеская улыбка. Есть хорошая поговорка: чтоб узнать человека, надо с ним пуд соли съесть. Но служба требовала не соль есть, а приступать к полетам, узнавать на деле.

...Увы, в полярном небе особенно не разлетаешься. «Видимость миллион на миллион», как любят выражаться

летчики, внезапно, без всякой подготовки сменяется здесь критической: не более чем на двести-триста метров. Перемена происходит иногда — за минуты! Сплошная облачность, туманы, снежные заряды... Опытные командиры не спешили отправлять новичков в небо.

Набрав высоту и взглянув вниз, он радостно ахнул, увидев наконец-то краешек солнца. Его командир Леонид Данилович Васильев, полярный ветеран, сурово одернул:

— Не отвлекайтесь от приборов. Эмоции эмоциями, а дело прежде всего.

Есть обстоятельства, которые не то чтобы формируют человека, зримо изменяют его, а скорее становятся как бы составной частью натуры. Способом выразить дремавшую до того черту характера. Подобным проявителем стала для Юрия полярная военная служба. Он так тесно слился с нею, что уже казалось неясным: он ли был создан специально для нее, она ли пришлась ему впору?.. Как вскоре и космонавтская работа.

«Я никогда не жаждал приключений и опасностей ради них самих», — сказал как-то Гагарин.

И, по всей видимости, он чувствовал себя не очень уютно в первый свой самостоятельный вылет с полярного аэродрома, когда небо, перед этим ясное и безоблачное («простые метеоусловия», — деловито пояснил Казаков), неожиданно замутилось наплывшим с моря плотным туманом, и пошел дождь со снегом.

Не посягая на специфику летной работы, рискуя все-таки высказать предположение, что мужество молодого пилота могло проявиться тогда лишь в единственном плане: в сохранении хладнокровия и точном следовании приказу.

В воздух поднялся командир звена, опытный северянин. Найдя Гагарина посреди снежных вихрей, он «завел» его на посадку.

Так в его летной книжке появилась запись: такого-то числа, во столько-то часов и минут произвел посадку при пониженном минимуме с оценкой «отлично».

Видимо, в аэродромных буднях это был приметный случай. Ему посвятили боевой листок: «Товарищи авиаторы! Сегодня летчик лейтенант Гагарин проявил высокую выдержку и умение при первом самостоятельном вылете. Учитесь летать так, как офицер Гагарин!»

А Семен Дмитриевич Казаков, кроме того и комсорг гарнизона, наматал себе на ус: значит, отзывчивый симпатичный парень оказался еще и хорошим летчиком?

Старая истина: выбор друзей лучше всего раскрывает сущность человека. Последние два года я настойчиво ищу знакомств с людьми, так или иначе сопутствовавшими Гагарину. Они имеют значение не только как полезные свидетели — сообщат какие-нибудь новые факты или любопытные случаи. Но важны они и сами по себе: он многое взял от них, не мог не взять, вольно или подсознательно. И их отношение к вещам и событиям становилось его отношением.

Гагарин вообще немыслим без людей! В самые ранние годы в нем проявилась одна из важнейших черт героя времени: умение объединять вокруг себя и самому входить в коллектив.

Семен Дмитриевич Казаков собранной коренастой фигурой, внимательным прищуром глаз на молодом лице, чем-то еще внезапно напоминает Гагарина.

И жизненный путь их долго оставался схож: та же смоленская деревня и раннее столкновение с материальными сторонами бытия. (Семен Дмитриевич еще школьником стал работать на лесосплаве, потом шофером в совхозе. «Как же вы успевали?» — «Обыкновенно: в школе с утра, а силос возил на своем грузовике во вторую смену, после обеда».) И те же перспективы: не только необъятность юношеских мечтаний, но и точ-

ное ощущение — мне бы хотелось назвать его «советским ощущением», — что жизнь непременно удастся и будущее сложится интересным, деятельным. Таким, как и ожидается.

Армейский призыв привел Казакова сначала в военноморское училище, а затем в морскую авиацию в Заполярье. (Он, кстати, участвовал потом и в отборе анкет для будущих космонавтов. Из семи добровольцев после первых медицинских осмотров осталось два твердых кандидата: Гагарин и Шонин. Они и уехали вместе в Москву.)

Жизнь развела Казакова с бывшим однополчанином не столь далеко во времени, как по тем событиям, которые случились в промежутке между встречами.

Вернувшись на Смоленщину и обосновавшись в родном городе Гагарина Гжатске, Казаков издали следил за его судьбой, никогда не напоминая о себе.

И лишь однажды в Крыму, неожиданно признав на почте в двух загорелых веселых молодцах, которые заколачивали какой-то старушке посылку, «небесных братьев» Поповича и Николаева, Семен Дмитриевич отважился заговорить с ними.

— Примите мои сердечные поздравления по случаю успешного завершения группового полета, — запинаясь, пробормотал он. — У меня к вам просьба...

— Автограф?

— Не совсем. При случае передайте привет Юрию Алексеевичу от бывшего сослуживца по Северу.

— Прошло несколько дней, — рассказывал Казаков. — Я никому не говорил про эту встречу. Да и что было рассказывать? Мало ли приветов посылалось Гагарину?.. Но вот как-то во время послеобеденного отдыха влетает в палату дежурная сестра: «Вас ждут!» В вестибюле стоял и улыбался Юрий. «Так вот кто мне приветы шлет! Ну, здравствуй... Ты что, говорить раз-

учился, что ли? Раньше не замечалось...» Он обнял меня за плечи и повел вниз по лестнице, на дорогу, где стояла «Волга». А из всех окон уже высовывались, и неся шепот: «Гагарин! Гагарин!» Я продолжал смятенно молчать, Гагарин с досадой воскликнул: «Не думал я, что ты такой стал! Помнишь, у нас на Севере, бывало...» Тут я набрался смелости и ответил: «Это не я стал, это вы, Юрий Алексеевич, стали». Он поморщился: «Брось, пожалуйста. Мало ли с кем что происходит, сегодня так, завтра этак. А совместную службу забывать нельзя. Я теперь поеду, — добавил Гагарин. — Меня ждут, да и автографы сейчас просить станут... Возьми-ка мой адресок. До встречи!» Дверца захлопнулась, машина исчезла за поворотом. Вздурораженный и не очень довольный собою, я медленно возвращался в санаторий. А вокруг разнеслась молва, будто я не летавший еще космонавт, только не сознаю в этом. Пришлось рассказать о заполярном гарнизоне, про нашу общую службу с Гагариным. И вот тут, вспоминая многие подробности, снова увидел его таким, каким он был тогда, и порадовался, что он так мало изменился. Потом, когда мы вместе вспоминали эту первую неловкую встречу, да еще немного подыгрывали, изображая ее, многие, да и мы сами, покатывались со смеху...

Когда Юрий вернулся под Москву, в Звездный городок, их дружба с Казаковым углубилась. Тем более что Гагарин, уже как депутат, часто приезжал в Гжатск.

Бывали и такие случаи: забегаю посреди рабочего дня домой, Семен Дмитриевич вдруг находил дверь отомкнутой, а в прохладной пустой комнате на диване, в одной тенниске, лежит Гагарин, закинув за голову руку, и увлеченно читает книгу, снятую тут же с этажерки. Прямо на полу перед ним кастрюля с картошкой в мундире. Не глядя, он шарит в ней и, поднеся ко рту, жует остывшую картофелину.

Это был его редкий отдых в тишине и одиночестве, так необходимый каждому.

Еще на Севере Гагарин научился полностью отключаться от дел. По гористой тундре, ныряя в заросшие густым кустарником распадки, он добирался до быстрого ручья, вода которого и летом оставалась леденистой, а зимой, окутанная испарениями, не замерзала; здесь, в уединении, он проводил за ловлей форели неслышимые часы. Ведь то первое лето он прожил один; Валентина приехала к нему лишь в июле.

Молодые летчики, с которыми Гагарин подружился тогда, с увлечением обсуждали полеты искусственных спутников: к этому времени уже третий советский спутник кружил над Землей. Как специалисты они не могли не понимать, что стремительное возрастание веса и объема этих космических аппаратов приближает эру полетов человека. Часами спорили и фантазировали, как и множество других людей во всех концах земного шара. Только чуточку более квалифицированно: подниматься над землю было их профессией!

Правда, между крылатыми машинами и ракетным кораблем существовал непройденный водораздел...

Индийский литератор Ходжа Ахмад Аббас (автор сценариев «Бродяги», «Господина 420», «Афанасия Никитина») через месяц после встречи с Гагариным выпустил в свет книгу-репортаж «Пока мы не достигли звезд», где написал о Гагарине точно и выразительно: «Я все еще не догадывался, что этот коренастый юноша и есть прославленный Колумб космоса. Даже в своей щегольской авиационной форме он показался таким обычным, таким мальчишески-молодым, что на какой-то момент мне показалось, будто вошел рядовой офицер, чтобы доложить о прибытии героя. Затем он улыбнулся, и тут я сразу узнал гагаринскую улыбку, которая сверкала в эти дни на миллионах страниц прессы всего мира...

А теперь этот необыкновенный парень сидел здесь и говорил о своих ощущениях скромно, почти буднично, будто рассказывал об обычной поездке в выходной день на пароходе по Волге. Гагарин искал глазами глобус и, не найдя его, взял из вазы апельсин. Вынув из кармана авторучку, он нарисовал на нем экватор и нанес точный путь полета своего корабля по орбите».

Но космические перспективы, хотя и манили молодежь затерянного в сопках гарнизона, пока оставались расплывчатыми. Гораздо больше волновала собственная повседневность.

Как они хотели летать! Постоянно. Каждый день. Как можно чаще.

И хотя Гагарин, переполненный энергией, просто физически не смог бы поддаться унынию или печали, но и он тосковал по небу, ревниво ловил щекой изменившийся ветер, проклинал погоду и нетерпеливо ждал своей очереди.

Немного позже, уже отобранные с Георгием Шониным для «испытательной работы», — о характере ее они знали пока очень мало, — когда только и слышно было вокруг завистливое: «Эх, и полетаете же вы теперь, ребята!» — их тоже в отъезде и перемене привлекала прежде всего именно эта извечная летчицкая мечта — летать!

...Прошла унылая полярная ночь. Весной, в апреле, он впервые стал отцом, а немного ранее того был принят в партию.

Оба события знаменовали единый процесс повзреления. К партии Гагарин относился с серьезностью много думающего человека. А первенец — крошечная Леночка с ее хрупкими косточками и ясными глазами, — расширила вместимость сердца.

Многие утверждали, что то государственное мышление, которое отличало Гагарина в последний период его

жизни, созревало в нем смолоду. Еще саратовский однокашник Петрунин вспоминал: «С Юрием всегда интересно было поговорить; в его необыкновенно вмести- тельной голове витала масса интересных, оригинальных мыслей». Казаков из многих доверительных бесед выделяет мечту Гагарина о превращении Гжатска в город молодежи. («Хорошо бы сюда к заводским добавить военное училище: это дисциплинирует, расширяет кругозор...») А заслуженная библиотекарьша, знавшая семью Гагариных еще по Клушину, Александра Андреевна Некрасова, в своих записках передает саму атмосферу постоянного участия Юрия в жизни родного города: «Сегодня день открытия университета культуры. Перед началом все захлопали. «Кому аплодируют?» — «Да смотри: вон стоит Юрий Гагарин». Все буквально впились в него глазами. Он в штатском голубом костюме. Выступал о срыве сроков строительства в городе. Очень повзрослел. После окончания я пошла в кабинет директора. Постучала. Ответили: «Нельзя». А Юрин голос отозвался: «Можно». Я отворила дверь, вошла. Юра подал мне стул. Я попросила его приехать в Клушино, где он родился, вырос. Говорила, как много там недостатков в его совхозе — совхозе имени Гагарина. Он внимательно слушал и сказал, что приедет. Я смотрела на него... Дома на письменном столе у меня тарелка с его портретом; на собраниях на трибуне видела несколько раз, а вот так, близко, не видела. Возмужал он, очень возмужал. Но так же чудесно прост, та же милая улыбка. Только редкая теперь. Усталость чувствуется. Договорились, что приду на прием; он на другой день принимал как депутат. Мне очень хотелось после полета его повидать и обязательно погладить по плечу или по руке. Вышла полная новых ощущений: «Ведь ты готовишься к новому полету, опять удивишь мир. А мы идем к тебе с мелочами, которые сами должны бы устраивать».

В воспоминаниях о Гагарине есть нечто взбадривающее. Будто к людям возвращается вместе с памятью о нем частичка собственной молодости, радостное время.

— Самое прекрасное, что я видел, — сказал мне вдруг посреди делового разговора близко знавший Гагарина подполковник Ребров, — это когда Юрий играл со своими дочками. Как он садился на трехколесный велосипед и азартно гонял на нем.

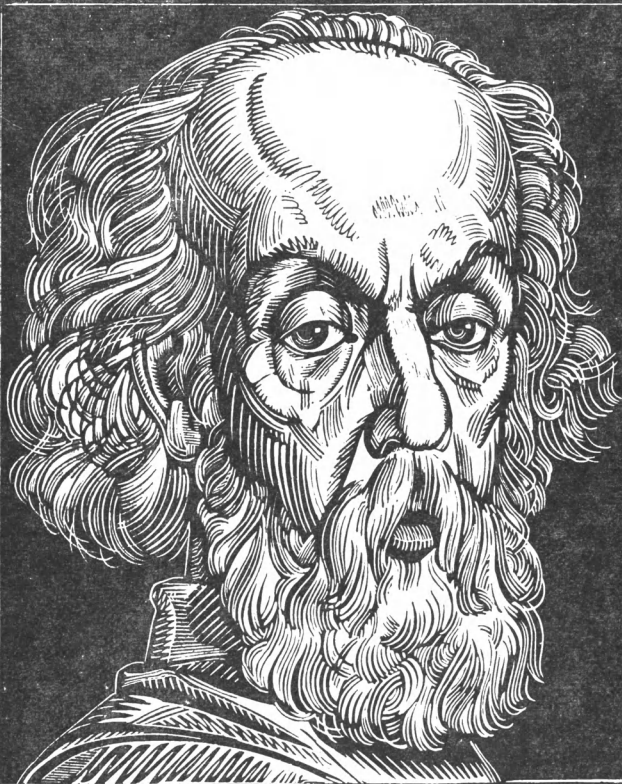
...Не странна ли наша повседневная близорукость? Все дружно твердили, друзья и свидетели от молодых ногтей: «С Гагариным никогда ничего не случилось!» А между тем именно с ним-то и случилось самое необыкновенное...

СОЛЕННЫЙ ПОТ КОСМОНАВТОВ

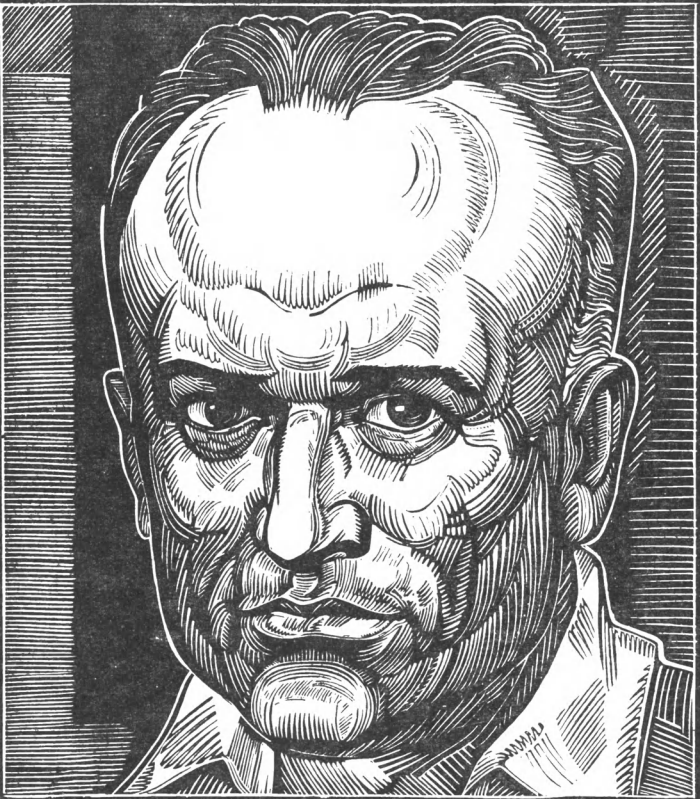
— Летайте, но не выше стратосферы! — это прощальное напутствие врачей звучало в ушах несостоявшихся космонавтов погребальным звоном.

Но Гагарин побеждал и ларингологов, и глазников, и невропатологов, и хирургов. Как рьяно они ни выстукивали на его теле «азбуку Морзе», изъянов не обнаружилось, Юрий продолжал надеяться...

Мне рассказывал один из кандидатов в космонавты, который несколькими годами позже прошел первые ступени отбора, что главным пугалом считался КУК — концентратор ускорения кориолиса, проверка вестибулярного аппарата. Как и в той первоначальной, гагаринской, группе, отсев был сразу чрезвычайно велик: из двадцати осталось... двое! Но уж у этих-то вестибулярный аппарат оказался первоклассным, особенно у моего рассказчика. И если его товарищ все-таки иногда «выдавал харч» после положенного кружения, то мой собеседник держался стойко.



К. Э. ЦИОЛКОВСКИЙ



С. П. КОРОЛЕВ

Видимо, идеальный вестибулярный аппарат чем-то сродни врожденной постановке голоса у певца. Сам человек об этом и не подозревает! Титаны вестибулярности рождались и умирали, понятия не имея о собственном совершенстве. Но вот наступила космическая эра, и человечеству срочно понадобились избранники по новому признаку: уже мало стало одной только смелости, недостаточно специальных знаний и недюжинного здоровья. Все это само по себе еще не могло сделать человека пригодным для космических полетов, без таинственного, далеко спрятанного в ушном лабиринте, неггибаемого чувства равновесия!

«Малый КУК», как его прозвали испытуемые, представлял собой вращающееся кресло, на которое человека водружали голым по пояс, густо облепив резиновыми присосками. «Малый КУК» вертится, и на приборы течет информация. «Главным предметом исследований были наши сердца, — вспоминал потом Гагарин, — по ним медики прочитывали биографию каждого. И ничего нельзя было утаить».

Вторым игольным ушком считалась барокамера: проверка стабильности кровяного давления.

— Представьте обыкновенный холодильник, — сказал кандидат, — только повместительней. И дверца плотная, с круглым окошечком самого толстого стекла. Внутри камера уже больше смахивает на лифт: ходить нельзя, а сидеть можно. На стенке прибор для измерения атмосферного давления. И одна-единственная красная кнопка: если станет вдруг худо — нажмешь, и испытание немедленно прервется. В иллюминаторе то и дело появляется лицо врача. Испытание состоит в том, что воздух становится все более разреженным, давление медленно понижается; за этим можно даже самому следить. А чувствуешь себя как в самолете: уши закладывает все ощутительнее. Полная имитация подъема

в высоту метров этак тысяч на шесть! Конечно, против альпинистов, покорителей вершин, я был в лучшем положении: они карабкаются, работают ледорубом, тратят силы, а я сидел неподвижно, уставать было не от чего. И опять-таки все время знал, что остаюсь на твердой земле, что рядом люди, что это не вершина, не высота, не космос...

Не знаю, смог бы человек воспарить в воздух без самолета? Не потому, что это невозможно технически, но потому, что самолет — это ведь тоже подобие дома. Психологически летчик не одинок. Интересно, что Майкл Коллинз, американский астронавт, который терпеливо кружил вокруг Луны, пока лунный отсек с Армстронгом и Олдрином опустился на поверхность нашей небесной соседки, говорил: «Меня спрашивают, чувствовал ли я себя одиноким? Нет, я летал один на самолетах семнадцать лет, и мысль об одиночестве в полете меня ничуть не беспокоила».

Можно возразить: а как же парашютист? Ведь он-то без всякой ограды, наедине с пустым небом? Да, но парашютист летит к земле, возвращается на землю, а не покидает ее! Это разные вещи. Думаю, что Алексею Леонову, шагнувшему в открытый космос, гораздо труднее было бы сделать этот немыслимый шаг, не будь его ум полностью загружен работой. Необходимость заниматься своим делом при любых обстоятельствах гораздо больший источник мужества, чем принято думать. И привычный автоматизм движений побеждает колебания легче, чем долгие раздумья. Недаром Гагарин потом скажет: «Весь полет — это работа».

К слову, о раздумьях и свободном выборе. Когда я однажды возвращалась с саратовского учебного аэродрома ДОСААФ, то в тряске и разогретом до степени духовки автобуса мой попутчик, летчик, человек молодой и бывалый, откровенно сказал, что он бы на ме-

сте Гагарина не полетел. Ни за что! «Но почему?» — «Страшно. Еще бы ладно вторым или третьим. Но первым — нет!» С некоторым досадливым изумлением я возразила, что, однако же, вот он сам прошел войну... «Там не было выбора», — просто ответил летчик.

...Наконец Юрий услышал желанные слова: «Стратосфера для вас не предел». И твердо вошел в группу завтрашних космонавтов. «Завтра» растянулось на недели и месяцы. Начались новые занятия, и о них Гагарин вспоминал так: «Мы должны были изучить основы ракетной и космической техники, конструкцию корабля, астрономию, геофизику, космическую медицину. Предстояли полеты на самолетах в условиях невесомости, тренировки в макете кабины космического корабля, в специально оборудованных звукоизолированной и тепловой камерах, на центрифуге и вибростенде. До готовности номер один к полету в космос было еще ох как далеко!»

Вот выписка из маленькой энциклопедии «Космонавтика» (увесистого тома в пятьсот страниц):

«Центрифуга — сложное сооружение радиусом до 15 м, мощность двигателей несколько тыс. квт, что позволяет создавать центростремительное ускорение до 40 g и выше. При этом скорость нарастания ускорения может достигать 5—15 м/сек. В зависимости от расположения испытуемого в кабине ускорение может действовать на него в направлении «таз — голова», «голова — таз», «грудь — спина», «спина — грудь», «бок — бок» или в каком-либо промежуточном... Телевизионная аппаратура позволяет наблюдать за внешним видом испытуемого».

О центрифуге и вибростенде космический медик Олег Георгиевич Газенко отзывался так: «Какими общеходными стали у нас слова «перегрузка по продольной оси пять единиц», «вибрации от десяти до тысячи перио-

дов в секунду при такой-то амплитуде колебаний», «диапазон температур от минус сорока до плюс пятидесяти градусов Цельсия» и так далее. А вообразите, что вместо прибора крутитесь на центрифуге вы сами, вас трясут на вибростенде, подогревают градусов до пятидесяти-шестидесяти; вы представляете, что получится?!»

А вот что рассказывал космонавт Владимир Александрович Шаталов о профессиональных тренировках:

«Вначале каждый из космонавтов готовит себя к отдельным элементам полета, репетирует свою работу в тех экспериментах, которые будут ставиться на борту космического корабля. Завершающий этап — это проигрывание всего полета, когда экипажи обязательно тренируются вместе на комплексном тренажере. Тренируются хладнокровие, быстрота реакции и анализа. Работа в аварийных ситуациях, слаженность в работе всех членов экипажа, умение мгновенно понять друг друга».

Очень важным для успеха Шаталов считает «взаимопонимание с Землей». Вместе с основным экипажем точно так же тренируется экипаж дублеров. «В результате к концу подготовки они разбираются во всех тонких нюансах полета так же хорошо, как и те, что находятся в космосе, и знают, как поступит основной экипаж при встрече с той или другой неожиданностью».

Теперь перенесемся на берег Волги, к окраине тихого города, сохранившего облик стародавней Петровской слободы.

В марте 1960 года парашютист Николай Константинович Никитин, обладатель мировых рекордов, рыжеволосый щеголь («Душевный человек и прекрасный рассказчик», — добавит после Гагарин), озабоченно объявил своим подчиненным:

— Едет спецгруппа. Будет нам работенка! Я назначен старшим тренером. Подготовить парашюты, секундомеры... И прежде всего жилье.

Этим-то и занялся Михаил Ильич Максимов, чаще называемый среди друзей просто Максом. Он плотничал и малярил. Гостиничку надо было довести до состояния, исключающего подобные насмешки. Комнаты белили и красили, обставляли мебелью и оснащали «мягким инвентарем».

Тринадцатого апреля Максиму поступила новая команда: встречать.

И вот на зеленеющее свежей травой поле садится белый самолет. Из него выходят все как на подбор молодые лейтенанты, невысокие, в кожаных тужурках и бриджах, в меховых сапогах. Обмундирование с иголочками, скрипит, блестит. Только фуражки у всех разные: из тех частей, где служили раньше.

— Знакомьтесь, ваш инструктор Максимов!

Едва отвезли вещи, не дав передохнуть, Максимов повел приезжих на занятия. Спросил Николая Константиновича Никитина:

— С чего начинать?

— Валяй от печки!

За месяц надо было пройти огромную программу: не менее сорока прыжков. Сложных, затяжных, со спуском на воду.

А Гагарин до этого прыгал четыре раза. И другие были не опытнее. Максимов помнит, как поднялась чья-то рука. Встал, представился:

— Старший лейтенант Титов. Сколько прыжков нам предстоит? Сорок? Ого!

Они переглянулись. Здесь были все первые космонавты, кроме Быковского, который как раз в это время находился в сурдокамере, отрезанный от всего света.

— Парашютист всегда волнуется, — говорил мне Максимов. — Чтоб снять этот неизбежный страх, им сначала были показаны классические прыжки Никитиным,

Ищенко, сержантом Бухановым — отличнейшими мастерами. Прыгал и я. Помню, вертолет набрал восемьсот метров, и со второго захода я выпрыгнул. Десять секунд падал плашмя. Показал беспорядочное падение, когда за несколько секунд до приземления надо доказать, что тело всегда управляемо. Никитин сказал: «А теперь я покажу положение, в котором многие погибали». Это было поистине потрясающее зрелище, особенно для новичков. «Он падает как лебедь!» — вскричал кто-то. Но восхищение сменилось испугом: Никитин падал, падал, а парашют все не открыт. На спине уже отчетливо виден красный горб чехла. «Запасной! Запасной!» — стали орать на поле. Лишь за триста метров над землей Никитин сделал сальто, за ним спираль, и парашют выхлестнулся белой струей, надуваясь и тормозя. «Такая штука, — объяснил Никитин, — называется затенением. Суть в том, что при неподвижном падении над телом возникает разреженность, и, чтобы купол вышел из чехла, чтобы его рвануло током воздуха, надо немедленно менять положение тела».

В главное событие своей жизни, бывает, человек вступает так неприметно, что оно уже вовсю бушует вокруг него, а он уверен, что еще ничего и не началось.

Те молоденькие старшие лейтенанты, которых принял на аэродроме Максимов, со снисходительным юмором приглядываясь к оживленным лицам и скрипучим кожаным тужуркам — только что, видимо, со склада, — были предвестниками самых необыкновенных событий и в жизни бывалого парашютиста, и в истории человечества.

Но почему-то тогда все это не воспринималось столь торжественно. На аэродроме знали, что приехала тре-

нироваться группа космонавтов (новое слово быстро вошло в обиход); да и в самом городе без особого любопытства провожали взглядом стайку легконогих, неизменно жизнерадостных парней в голубых спортивных костюмах.

Событие началось, а его почти никто не замечал. Меньше всего сами космонавты. Им было очень некогда.

День начинался с подогнанной Максом к гостинице машины и первого завтрака уже на аэродроме — кружки какао. Затем прыжки в любую погоду, кроме сильного ветра. Тренировались с трамплинов и с двух вышек разной высоты. Парашютные лямки были закреплены на тросах — космонавт катился на них до самой земли. Ноги вместе, носки чуть вогнуты вперед.

— Бывало, орешь через электромегафон: ноги! Чтоб не болтал ими, а держал как надо.

Через несколько лет Юрий так и надписал Максиму свою фотографию — таинственным, понятным лишь им двоим словом «ноги».

ПРЫЖОК! ЕЩЕ ПРЫЖОК!

Высота всегда страшна. Космонавты тоже переболели «предстартовой лихорадкой», когда сердце начинало неистово стучать, помимо воли охватывали тревожные мысли, а на крыле самолета сковывало оцепенение. «И хочу шагнуть за борт, и не могу, — признавался Николаев. — Собрал всю волю, оторвал руки от борта кабины и прыгнул». — «Как оттолкнулся от самолета — не помню, — вторил ему Быковский. — Начал соображать, когда рвануло за лямки и над головой выстрелил купол».

«С раскрытием парашюта у человека снимаются все отрицательные эмоции, настроение резко меняется, при-

ходит чувство радости, — писали позже, анализируя это состояние, Гагарин и Лебедев в книге «Психология и космос». — Люди начинают перекрикиваться друг с другом, иногда даже поют песни». Там же рассказывается история трудного приземления Гагарина и Беляева: сильный ветер сносил обоих к железнодорожному полотну, за которым шли столбы высоковольтной электропередачи, а далее начиналась территория лесоразделочного завода. Приземление на провода и на бревна было одинаково опасным. С места уже сорвался вездеход — «Скорая помощь». Но Гагарин благополучно спустился у самых рельсов, а Беляев, поманеврировав, сел на крышу какой-то пристройки.

Теперь Максимов водил меня по пустому полю... Недалеко по-прежнему виднелся дом, похожий на казарму, палисаднички, сараи. Место было открытое, и к нам сразу набежали мальчишки. Максимов смотрел на них сердито: однажды из-за таких же вот сорванцов он сломал себе ногу. Он прыгал, а мальчишечья стая вопила, задрав головы: «Дяденька, падай, не бойся, мы тебя поймаем!»

— А я бы их в землю вбил, если б упал на них. Вот и пришлось последний десяток метров вертеться, нарушать все правило, чтоб только опуститься подальше.

Но тотчас переменял тему:

— Вы слышали про «пристрелочный прыжок»? Это спуск в определенное место. Тут надо уметь учитывать всю разность течений воздуха. Ведь ветер не один! Там, на высоте, их одновременно несколько, и все дуют в разные стороны... Помню утро: нудный тихий дождь, земли не видно за пятьсот метров. Собрались мы все под крылом самолета, соображаем, как быть. «Ну, Макс, будем прыгать?» Смотрю на умоляющие глаза Леонова и Воынова — им лишь бы прыгать! Отчаянные ребята. Полетели. Нашли в тучах дырку километрах в пятнадцати

от города. А шли в сплошном дожде, аж темно в самолете! Из дырки отыскиали ориентиры. Выпрыгнули. И очень стало неприятно: в густом дожде стропы видны, а купола — нет. Кричат друг другу, чтоб разойтись в этом тумане, не запутаться. Все-таки опустились где надо. Никитин обыкновенно выпускал их парами. А по способностям делил на пятерки. В первой пятерке были, помню, Гагарин, Титов, Николаев, Воынов и Леонов... Ну, после прыжков все ехали в гарнизонный душ. До обеда отдыхали. После обеда шли на укладку парашютов. Это довольно канительное дело. Скоро ребята научились укладывать не в парашютном классе, а на брезенте, на солнышке, и управлялись до обеда. После обеда — врачи. К четырем я снова подгонял автобус к гостинице: «Куда сегодня поедет?» — «На речку! В музей!» Они были дружными парнями...

...Юрий Гагарин потом скажет: «Лететь в космос было моим личным желанием».

Они все хотели лететь в космос! Их желания накладывались на стремление века, на приказ командиров, на тревожное ожидание жен, на восхищенное нетерпение друзей. Они знали, что их ждет. Хотели этого. И могли совершить.

Уверенность накапливалась с каждым новым рассветом, когда они гурьбой бежали на аэродром и приажикивали на себе бесформенные пока подушки парашютов. Она возросла в тот день, когда появился наконец припоздавший Быковский, первым прошедший искус одиночеством в сурдокамере. «Ну как? Как?» — жадно спрашивали его, обступив.

Максимов вспоминает, что тот отозвался с великолепной молодой беспечностью: «Да ничего. Чепуха. Отсидел, и все». И тогда внутренняя напряженность разрядилась вполне обыденно: ему стали жаловаться, что в городе скучно, свободного времени почти нет...

Наутро Максимов назначил Юрия подбирать чехлы. Подбирать чехлы, которые срываются с парашютов гораздо раньше приземления и разносятся ветром в радиусе нескольких километров, дело долгое и хлопотное — останешься без ног.

Гагарин и это проделывал расторопно, без досады. Он обладал столь ценным в человеке сочетанием юмора и серьезности: к своей работе он относился серьезно, но делал это необременительно для других, оставаясь в обиходе шутником и балагуром. Не было такого тяжелого дела, в которое он не привносил бы чуточку фантазерства и подтрунивания. Когда, казалось бы, его должны сломить горечь или утомление, он по-прежнему сохранял лукавую ровность в обращении.

Как-то, близко к концу парашютной практики, Юрий спросил мимоходом:

— Что это Хмара так нахмарился?

Фамилию Хмара носил завскладом, укладчик парашютов. Вид у него действительно был последние дни унылый и озабоченный.

— Худо, — отозвался Максимов. — До зарплаты далеко, а дети захворали, оба лежат в больнице, и жена там при них. Передачи носить надо.

Юрий оглянулся на Титова.

— Быстренько подписочку?

Герман понимающе вытащил лист бумаги.

— Организуем.

Вдвоем они обошли всех парашютистов...

Собственно, в этом поступке не было ничего выходящего из ряда вон: все охотно пришли на помощь товарищу. Но неладное в выражении его лица первым заметил Юрий. И не отмахнулся от мимолетного впечатления.

Проявляя сочувствие, Гагарин делал это с улыбкой. Он всегда предпочитал помочь человеку и развеять его, чем просто разделить уныние.

Еще раньше мне рассказывала саратовская учительница Надежда Антоновна Бренько, что, когда ее муж умирал в больнице, а у нее был урок в техникуме, она села за стол и горько заплакала. «Ребята, — сказала она, — Юрий Федорович больше не вернется к нам». Юрий Федорович Кузьмин, инженер-литейщик, три года вел в индустриальном техникуме специальные дисциплины, его любили и хорошо знали. Это к нему, больному, прибегали студенты вместе с Юрием в тесную комнатку на втором этаже скрипучего деревянного дома и играли на постели в шахматы...

При трагическом известии парни потупились, у некоторых на глазах выступили слезы. Класс наполнился сопеньем и всхлипыванием.

— А Юра? — осторожно спросила я. — Где был он?

— Юра? — Она глубоко вздохнула, с трудом вырываясь из горестного воспоминания. — Юра, конечно, у двери.

Оказывается, он незаметно подошел к дверям и стоял на страже, чтоб не заглянул кто-нибудь посторонний и не застал плачущую учительницу.

С годами Гагарин, вероятно, менялся во многом. Но одно оставалось в нем неизменным до последнего дня: отзывчивость и доброта. Сострадательный взгляд натерпевшегося с детства ребенка подмечал те мелочи, мимо которых беззаботно проходили другие.

— Мне самым главным, — сказал Максимов, — кажется не то, что Юрий выдержал испытание как космонавт — когда надо, мы, летчики, все выдержим! — а вот что испытание славой достойно вынес, остался прежним, это, по-моему, важнее. И все космонавты потом держались так скромно, может быть, именно потому, что Юра задал им тон. Нет, народ его любит не зря. Он ведь должен был приехать сюда на первую годовщину полета. Как его ждали! Два дня школьники,

студенты шли пешком из Саратова сплошным потоком к тому полю, где он приземлился. И люди шли, и машины ехали. В газетах писали, что собралось двадцать тысяч. Больше! Старушка Тахтарова, которая его первой встретила из космоса, лежала в больнице: так ее на те дни врачи отпустили. «Где же, — говорит, — мой сынок? Я пирогов ему напекла». Большое было разочарование, когда объявили, что не сможет он прибыть. И все равно до последней минуты верилось... Прыгают парашютисты; один виртуозно опустился прямо перед трибуной — ну все и закричали: «Гагарин! Гагарин!»

Вся парашютная эпопея заняла тридцать семь дней: тринадцатого апреля космонавты прилетели, а девятнадцатого мая получили значки инструкторов парашютно-десантного дела. Кстати, этот так трудно доставшийся ему значок Гагарин носил и после того, как его китель украсила уже Золотая Звезда...

А теперь космонавтов ждала, вслед за Быковским, сурдокамера. Казалось бы, для такого общительного человека, как Юрий, искус одиночеством должен был сделаться особенно невыносимым! Только привычка к дисциплине, «уменье с вдохновением отдаваться будничным заданиям», как скажут потом о нем в прощальном слове друзья-космонавты, только железная воля и крепкие нервы могли бы удержать его в норме.

Так казалось... Но скорый вывод не самый верный. Напротив, мне думается, что именно благодаря своей общительности Гагарин легче других перенес одиночество. Он быстро нашел выход: ему составил компанию... собственный голос. «Доброе утро. Начинаем зарядку», — говорил он, просыпаясь. И целый день проходил в подбадривающей игре с самим собою. Мы ведь уже знаем, как он умел самозабвенно баловаться с детьми. Склонность к взаправдашней выдумке и фантазерству оставалась в нем до конца.

Тотчас после гагаринского полета вышла очень интересная книжка под названием «Труден путь до тебя, небо!». Глава о пребывании Гагарина в сурдокамере особенно впечатляет.

«В комнате работали трое, — рассказывал автор. — Врач-психолог, лаборантка и инженер. Но все время чувствовалось присутствие кого-то четвертого. То и дело слышалось: «Он проснулся сегодня раньше...» «Он передал, что чувствует себя отлично...» Он — космонавт. Сейчас он совсем в другом мире. Он много дней не видел людей, не слышал человеческого голоса. «Наверно, это страшно?» — спрашиваю психолога Федора Дмитриевича».

Ведь от одиночества, от тишины самые здоровые люди сходят с ума, у них появляются галлюцинации... Но врач включает ленту записи, и раздается живой, улыбатый голос Гагарина: «Земля! Я — космонавт. Сегодня пятое августа тысяча девятьсот шестидесятого года. Московское время — восемь часов сорок минут. Приступаю к завтраку. Та-ак... морковное пюре... По случаю вашего прибытия на Землю, Юрий Алексеевич, сегодня праздничный завтрак!»

«Снаружи камера похожа на рубку корабля, — пишет Апенченко. — Здесь даже иллюминаторы. Но они не пропускают дневного света. Камера изолирована от всего — от звука, от света. Даже атмосфера у нее своя».

Однажды все очень встревожились: датчик дыхания «не писал». Спешно включили телевизор, и тогда в полутьме разглядели с облегчением фигуру спящего Гагарина; ладонь под щекой, грудь ритмично вздымается... Уф!

«Лампочки на столе у Юрия замигали. Красная, красная, белая. Он посмотрел в табличку и прочитал: «Поправьте датчик дыхания».

Так, молча, разговаривала с космонавтом Земля. И понемногу он привык к ее немому разговору. Но озорство не оставляло его и в этой унылой обстановке. Он начинал болтать сам, зная, что за толстыми стенами с электронной начинкой его услышат.

«Он вспоминал, кто должен дежурить в тот день, и говорил, даже не требуя ответа. «Зин? А Зин? — доносилось из динамика. — Ты сегодня дежуришь ведь? — спрашивал Юрий лаборантку. — Как там моя Валя? Передай ей, что я тут обжился».

Прошло еще несколько дней. По эту сторону камеры знали, что сегодня затворничеству наступит конец. Но сам Гагарин ничего не подозревал, для него бесконечное время продолжало тянуться и тянуться...

Неожиданно из динамика донеслось странное мурлыканье под нос:

Вот порвались шнурки, —
пел Гагарин.

Пора готовиться к записи...
Сколько мне дали электродов...
Один электрод с желтым шнурком...
Другой электрод с зеленым шнурком...
Третий электрод с красным...

«Мне было непонятно все это, — вспоминает Апенченко, — и Федор Дмитриевич просто объяснил: «Иссякли впечатления в камере. Вот он и ищет новых впечатлений. Поет, как казах, обо всем, что видит».

А в характеристике, составленной перед его полетом, было сказано: «Реакции на «новизну» (состояние невесомости, длительная изоляция в сурдокамере, парашютные прыжки и другие воздействия) всегда были активными: отмечалась быстрая ориентация в новой обстановке, умение владеть собой в различных неожидан-

ных ситуациях. Уверенность, вдумчивость, любознательность и жизнерадостность придавали индивидуальное своеобразие выработке профессиональных навыков».

Работа космонавта состоит из двух полюсов внутреннего состояния: из готовности к риску, небоязни и даже тяги к критическим ситуациям, и в то же время из постоянной самодисциплины, которая исключает возможность зарваться. Обе эти силы, как центростремительная и центробежная у планет, действуют безостановочно, одновременно и составляют суть мастерства новой профессии.

ЗАРУБКА НА ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Космическая эра началась несколько раньше, чем об этом узнал первый космонавт.

Гагарин и его товарищи услышали сообщение ТАСС в Оренбурге 5 октября 1957 года. А крошечный железный цыпленок со своим боевым писком «бип-бип» поднялся с уже построенного космодрома. Его несла материнская рука уже созданной ракеты. И люди, которые совсем недавно, будучи вызванными пред светлые очи академика Королева, смущенно бормотали, что вовсе не знают, как строить космические аппараты, что нет у них для этого опыта, и неизменно получавшие ироническую отповедь: «А для меня спутники не новость? Я, что ли, летал уже к звездам?» — эти самые люди успели понемногу втянуться в свою уникальную работу. У них налажился собственный быт, взаимовыручка и соперничество. Например, тех, кто строил ракету, с теми, кто монтировал «ПС» — Простейший Спутник под домашней кличкой «пеэсик»...

Название «космический корабль» возникло тоже не сразу. Очевидцы вспоминают, что дебатировались варианты: космолет, звездолет. Кстати, последнее понятие

легло в основу американского: астронавт. В отличие от нашего: космонавт.

Королев и его сподвижники стремились прежде всего к предельной точности обозначения. «Звездолет» и «астронавт», то есть путешественник к звездам, никак еще не соответствовали действительности; речь шла пока о том, чтобы вырваться за пределы атмосферы, победить земное притяжение. Термины надо было не только создавать, но и объяснить. Например, что такое космос и что такое космический полет?

«Под космическим пространством, — писал тогда Сергей Павлович Королев, — понимается пространство, окружающее Землю, начиная с тех высот, где даже при очень больших скоростях движения остатки атмосферы не могут использоваться для поддержания полета. Одним из признаков, определяющих космический полет, является движение летательного аппарата в пространстве выше плотных слоев атмосферы... Если летательный аппарат совершает полет вокруг Земли хотя бы в течение не менее одного оборота, не падая на Землю, то такой полет является космическим».

Сейчас нам все это кажется очевидным. А за двадцать дней до старта Гагарина Королев еще записывал для себя: «Космический полет предусматривает посадку на Землю. Иначе это падение, выстрел... — И добавляет задумчиво: — Не всегда на Землю!»

У человеческой психики особенность: таинственным пребывает лишь неназванное. Стоит вещь или явление обозначить, и они теряют известную долю необычности.

Автор книги «Первые ступени», участник почти всех этапов космической работы, вскользь замечает, что, когда в проекте возникло слово «Восток», лишь первое время оно казалось всем странным. «Но привычка есть привычка. «Восток» быстро завоевал себе право на жизнь, пока, правда, в кругу проектантов и конструкторов».

Инженер добавляет, что описать процесс рождения космического корабля — его расчеты, проектирование, конструирование, изготовление и испытания — возможно «разве что во многих специальных томах!».

И все-таки, чтоб сразу не ставить неперелазный барьер между читателями и высокомудрыми знатоками, заметим, что работа специалистов распадалась на множество совершенно автономных отраслей. Объять густой лес проблем было под силу, пожалуй, лишь одному Генеральному конструктору. Слишком велики оказывались контрасты!

Пока в уютной комнатке с домашними шторами виртуозы-сборщики в белых перчатках складывали готовые детали на бархатные подставки, пока шло ювелирно-монтажное действо, рядом, в огромном зале, при помощи подъемных кранов и рельсовых эстакад наращивала свое великанье тело ракета-носитель.

«Пезс» был такой маленький, кругленький, блестящий от полировки; в него столько вложили эмоций, выдумки, надежд и опасений, что потом, когда конструкторы увидели над космодромом свой драгоценный первенец-светлячок летящим, хотя все их мысли были заняты уже совсем другим прибором, многие прослезились.

А ракета выглядела, напротив, устрашающе громадной, хотя еще и пустотелой: составы с горючим наполнят ее чрево уже на космодроме. Она покоилась в ангаре на гигантских стапелях. Сергей Павлович Королев, мужчина плотный, совсем терялся в ее тени, когда поздним вечером присаживался перед нею на табурете, нанося именно здесь уединение.

В сущности, он мог считать себя счастливейшим человеком. С тех пор, как возникла легенда о Фазтоне («он позволил себе слишком многое и поплатился за это»); с тех пор, как Архимед изготовил первый астрономический глобус; как Коперник предположил, что вме-

сте с Землей вращается и ее атмосфера, а земная ось стоит под углом; с того времени, как Ньютон в середине семнадцатого века вычислил первую космическую скорость, а Циолковский на заре двадцатого вычертил схемы ракет — воплотить грезы о небе, сделать их осязаемыми, первому выпало именно ему, Сергею Королеву!

И если, закрывая глаза, Циолковский едва ли мог предположить, что мальчик, который спустя четверть века делает первую ракету обитаемой, уже родился и что это произошло совсем недалеко от калужского домика, в соседней области, — то Сергей Павлович, или, как его чаще называли в среде конструкторов, Эспе, безмолвно созерцая тело ракеты, предназначенной для вывода на орбиту космического корабля, уже твердо знал, что такой смельчак существует.

Но, прежде чем перейти к «самой интересной странице» жизни Гагарина, следует напомнить еще об одной отрасли науки, без которой был бы невозможен его полет: о космической медицине.

Автор книги «Первые ступени» хорошо передает то чувство ошеломления, которое он испытал в институте, где тренировали на центрифугах стриженных дворняжек. Еще сто лет назад, когда трое французов-воздухоплавателей поднялись на воздушном шаре впервые на высоту восемь километров, ближний космос дал ясно понять, что человеку в нем делать нечего. И не только потому, что наш вестибулярный аппарат приспособлен лишь к земной силе тяжести, а при ее нарушении начинаются искажения в восприятии мира. Только Гагарин мог честно заявить, что невесомость «даже приятна», ибо неприятности начинаются с шестого витка. В той или иной степени всех посетили зловещие космические фантасмагории, когда кабина расплзлась, а один глаз видел как бы совсем не то, что другой, смещая понятия «верх» и «низ».

Правда, следующие космонавты были уже подготовлены к возможности «ложных пространственных представлений», и космонавт-врач Егоров мог квалифицированно разобраться в том, что наблюдал.

Но невесомость до полета человека оставалась совершеннейшим белым пятном, «великим иксом», по выражению академика Василия Васильевича Парина. Хотя все другое было как будто уже ясно: с высотой уменьшается давление, живительные газы, наполняющие кровь — кислород, азот, — собираются в пузырьки и закупоривают кровеносные сосуды; кроветок, основа жизни, прерывается. В этом и была причина трагедии французских воздухоплавателей. Если их шар смог бы подняться выше еще на десять километров, то там подстерегала гибель от... закипевшей крови! Потому что с падением атмосферного давления меняется и точка кипения жидкостей (до некоторой степени это знают уже альпинисты-восходители), пока не достигнет температуры тридцати семи градусов по Цельсию, то есть температуры нашего тела. Тогда кровь кипит в жилах.

Но и в этом не последняя опасность высоты! Постоянный ливень космических частиц, путь которому надежно преграждает плотная земная атмосфера, там, на высоте, невозбранно ударял бы в наши мышцы и кости: одно атомное водородное ядро — «космическая бомбочка», летящая со скоростью света, — способно поразить пятнадцать тысяч живых клеток в человеческом организме!

«Мы долго сидели молча, взволнованные нарисованными картинками разрушения всего живого в космосе».

...А может, космос и есть тот самый смертельно опасный порог, переступив который не останется ничего другого, как только... стать оптимистами?! Вооружиться главной и в итоге единственной человеческой силой — силой духа?

Оптимизм рождается вначале от незнания опасностей, подстерегающих впереди. А о чем же мы так мало знаем еще, как не о космосе? И что более дерзновенно, чем наше вступление в него?

Когда Земля подбросила своей большой ладонью горошину ракеты, а та вдруг не вернулась тотчас, сраженная тяготением, но сама по себе описала круг, — в этом наряде с напряжением, наукой, работой был и элемент дерзости древних мореходов. Всего того, чем красна жизнь. Что вносит в наше существование радостный дух исканий. Ведь человек с одинаковой одержимостью стремится и к вершинам, и к безднам — ко всему, что кажется недостижимым.

Не надо забывать, что, когда произошел первый прорыв человека за пределы земного тяготения, мир был моложе на десять лет, и на многие вещи мы смотрели по-иному. Через полвека людям будет еще труднее вообразить поступок Гагарина во всей его психологической сложности.

Ведь те из нас, что проживут это грядущее пятидесятилетие, будут уже отличаться сами от себя, сегодняшних, настолько же, как и мы, родившиеся до телевидения, непохожи на тех, кем стали нынче, когда смотрим на дому футбольный матч из другого полушария. И вообще узнаем о великом событии не после его совершения, а в ту самую минуту, становясь участниками и сопереживателями.

В убыстрившемся мире каждый день происходят перевороты, технические и научные, хотя случается это неосознано и невидимо.

Но космос, даже самый ближний, наша орбитальная околица, еще очень долго не будет обжит! Он по-прежнему станет притягивать мечты не одного поколения землян и останется заманчивой целью, а не просто службой и профессией.

ПАЛЕЦ ФОРТУНЫ

У генерала Каманина много всего за спиной. «Голова в седицах, грудь в орденах» — это и о нем можно сказать, хотя он еще не так и сед. В двадцать четыре года он спасал в Чукотском море челюскинцев; девушки тогда пели по всему Советскому Союзу:

Мое сердце ранено
Летчиком Каманиным.
Очутиться б среди льдин,
Да чтоб вылетел один!

А с газетных клише смотрел молодой пилот, стремившийся всеми силами удержать на лице деловое, даже слегка насупленное, выражение...

С Гагариным они встретились впервые в начале марта 1960 года на приеме у главнокомандующего Военно-Воздушными Силами Вершинина.

Но для Юрия Николай Петрович не был совсем чужим: начальник Саратовского аэроклуба Григорий Кириллович Денисенко, тоже Герой Советского Союза, фронтовой товарищ Каманина, часто рассказывал о своем однопольчанине.

Думаю, что с годами генерал, человек, как мне показалось, вовсе не сентиментальный, привязался к своим питомцам, чувствовал себя уже неотторжимым от них. В его дневнике проскальзывают эти озабоченные, почти родительские нотки.

5 апреля 1961 года, когда они прилетели из еще заснеженной Москвы на Байконур, где над песчаными барханами и мутной речкой дул сухой «афганец», Каманин записывает:

«В автомашине по дороге на аэродром, в самолете и сейчас, когда я пишу эти строки, а космонавты играют

за окном в волейбол, меня неотступно преследует одна и та же мысль: кого послать в первый полет — Гагарина или Титова? И тот и другой отличные кандидаты... Есть еще несколько дней, чтобы «сделать выбор. Невольно вспоминаются дни войны. Тогда подчас было трудно решать вопрос, кого посылать на рискованное задание; оказывается, во много крат труднее решить, кого из двух-трех достойных сделать участником всемирно-исторического события».

Проходят сутки, Николай Петрович снова обращается к заветной тетрадке:

«Весь день наблюдал за Гагариным, вместе обедали, ужинали и возвращались в автобусе. Он ведет себя молодцом, и я не заметил ни одного штришка в разговоре, в поведении, в движениях, который не соответствовал бы обстановке. Спокойствие, уверенность и знания — вот его характеристика за день... Ребята давно уснули, а я в раздумье сижу над дневником...»

8 апреля состоялось заседание Государственной комиссии. Полетное задание пилоту космического корабля «Восток» подписывают Королев и Каманин. «От имени ВВС я предложил первым кандидатом Гагарина Юрия Алексеевича, а Титова Германа Степановича — запасным. Комиссия единогласно согласилась с предложением».

9 апреля, воскресенье.

«В конце дня я решил не томить космонавтов и объявить им решение комиссии. По этому поводу, кстати сказать, было немало разногласий. Одни говорили, что решение о том, кто летит, надо объявлять на старте; другие считали — надо сделать это заранее, чтобы космонавт успел привыкнуть к мысли о полете.

Я пригласил к себе Юрия Гагарина и Германа Титова и сказал как можно более ровным голосом:

— Комиссия решила: летит Гагарин. Запасным готовить Титова.

Не скрою, Гагарин сразу расцвел своей улыбкой. По лицу Титова пробежала тень досады, но это только на какое-то короткое мгновение. Герман крепко пожал руку Юрию, а тот не преминул подбодрить товарища: «Скоро, Герман, и твой старт».

Накануне полета, после обеда без тарелок и вилок, из космических туб, Юрий неожиданно сказал Каманину:

— Знаете, Николай Петрович, я, наверно, не совсем нормальный человек.

— Почему?

— Завтра полет. Такой полет! А я совсем не волнуюсь. Ну ни капли не волнуюсь. Разве так можно?

Наверно, все это так и было, хотя каждое событие имеет столько окрасок, сколько людей о нем вспоминают.

Инженеру-испытателю, например, Юрий запомнился в предстартовые дни совсем другим: неулыбчатым и отнюдь не беззаботным.

«Юрий увел меня в сторону от испытательной площадки, и мы прогуливались вдоль монтажно-испытательного зала корпуса. Он долго молчал, молчал и я. Юра поднял голову и грустно сказал:

— Ну вот, скоро и расставанье...»

А вот впечатление академика Королева:

«В своей жизни я повидал немало интереснейших людей. Гагарин — особо значительная, неповторимая личность. В дни подготовки к старту, когда у всех хватало и забот, и тревог, и волнений, он один, казалось, оставался спокойным, даже веселым. Сиял как солнышко... «Что ты все улыбаешься?» — спросил я его. «Не знаю. Видимо, несерьезный человек». А я подумал: побольше было бы на нашей земле таких «несерьез-

ных» людей... Один случай меня особенно изумил. В то утро, перед полетом, когда Юрий одевался в свои космические доспехи, я заглянул в «костюмерную» и спросил: «Как настроение?» — «Отличное», — ответил он и, как обычно, с ласковой улыбкой произнес: «А у вас?» Он пристально вглядывался в мое сероватое, уставшее лицо — не спал я ночь перед стартом, — и его улыбка разом погасла. «Сергей Павлович, вы не беспокойтесь, все будет хорошо», — сказал он тихо, но как-то по-свойски.

Герой — всегда собирательный образ, как бы ни был реален человек, ставший им. К фактам и датам биографии прибавляются те миллионы глаз и миллионы ушей, которые смотрят на него и слушают о нем. Народ не хочет знать о мимолетном и слабом в характере своего любимца. Нет, он не придумывает ему другую жизнь, просто волшебным образом освещает ее собственным светом, согревает своим дыханием.

И люди правы, когда делают так.

Мне рассказывала поэтесса Людмила Константиновна Татьяничева:

«Однажды весной, возвращаясь из командировки, я села в такси от вокзала и, так как мне интересны все люди, как бы коротко я с ними ни сталкивалась, стала приглядываться к шоферу и попыталась завязать с ним разговор. Но он отвечал неохотно, а потом и вовсе перестал. «Извините, — сказал, — но я хотел бы сейчас помолчать. Слова с языка не идут». — «У вас что-то случилось?» — «Конечно, случилось, — ответил он. — Юра наш погиб». — «Какой Юра?» — «Юра Гагарин».

А она еще ничего не знала, ехала в поезде и ничего не знала.

«Он ведь у нас у всех как первенец был. Первый в семье».

И стал горестно вспоминать о том, что и он видел

однажды Гагарина. Тот выходил из машины. И так захотелось таксисту поговорить с ним! «Но о чем? О космосе? А что я в нем понимаю? И упустить случай такой не могу, просто не прощу себе этого. Подошел, спрашиваю: «Юрий Алексеевич, сами машину водите?» — «Сам». — «А сколько она прошла?» — «Двадцать тысяч километров». — «А как здесь?» — потыкал пальцем. «Хорошо». — «Разрешите взглянуть?» — «Конечно». Облазили вместе всю машину, хорошо так поговорили...»

У Юрия, кроме его подвига, оказалась завидная судьба: он был счастлив любовью многих. Возле пирамид за его машиной восторженно поспешали шейхи пустыни. В честь него били иступленные африканские тамтамы. Итальянцы ему писали: «Мы, римские ребята, обнимаем тебя от всей души, о великий Юра!»

Счастье тоже можно трактовать в двух его значениях. Маленький круг счастья — это то, что человеку приятно, доставляет удовольствие. Собственно, так и понимает счастье каждый из нас в обыденной жизни. И такого счастья мы желаем друг другу в ночь под Новый год.

Но большой круг счастья очерчивает **всего** человека. Все заключенные в нем силы и возможности. Такое счастье вовсе не предполагает благополучия и безмятежности. Напротив, оно может проявиться лишь в исключительных необычных обстоятельствах, оно требует напряжения сил, смелых поступков, не боязни поверить единственному шансу из ста. Оно требует отказа от легкого и близкого во имя того, что пока далеко и трудно сбывается. Это счастье — раскрыться для мира, распахнуть себя для него. Или развернуть его для себя. Что, в общем, одно и то же: когда человек находит свое предназначение, он счастлив именно единением с миром.

Но вернемся к Юрию Гагарину. К его, казалось бы,

такой солнечно-удачливой судьбе. (Крутые изломы ее не были заметны постороннему взгляду.)

Образ Гагарина поверяется не только историей, но и народным воображением. Я тоже слышала несколько легенд о нем. Вот одна из них.

Это случилось уже после того, как слетали первые шестеро космонавтов. На одном из приемов, когда официальные тосты кончились и все приветственные речи остались позади, по большому банкетному залу, выйдя из-за столов, приглашенные разбились на небольшие компании — не по чинам, а по приятельской склонности.

Космонавты тогда были все очень молоды, общительны, полны озорства.

— Ребята, — воззвал к ним один из застольных знакомцев, вступив в стадию полной доверительности. — Ну, скажите, почему все-таки полетел первым Юрка, а не ты, не ты и не ты? — Он жестом обвел полукруг.

Космонавты переглянулись.

— А потому, — отозвался один из них, кажется Павел Попович (и пусть не обижается, если это не так: легенду не оспаривают!). — Потому что он оказался честнее нас всех.

И будто бы рассказал такую историю.

Однажды вечером академик Королев повел их всех взглянуть на корабль «Восток». Почему-то мне представляется, что это был вечер и зима. По крайней мере, когда они вошли в пустой ангар, а Королев щелкнул выключателем и ровный безжизненный свет залил длинное помещение с хрупкой скорлупой космической лодки, всем стало как-то не по себе. Словно их оледенил прообраз космической пустоты. «Я понимаю, — сказал Королев после некоторого молчания. — Лететь первому страшно. У нас нет полной уверенности, как там все получится. Дело это, товарищи, добровольное». Космонавты после секундной запинки подтвердили, что все они

готовы лететь. «Ну, тогда с завтрашнего дня вы будете проходить еще некоторые дополнительные медицинские обследования».

И действительно, неделю или месяц — сказка утверждала бы, что тридцать лет и три года! — они глотали таблетки, подставляли руки шприцам, вдыхали и выдыхали, в общем, вели себя как послушные братцы-кролики.

В один из таких дней, ну ничем решительно не отличимый от предыдущих, их снова позвали к Королеву. «Железный король», как его называли в шутку, был озабочен и хмур.

Легенда не уточняет, где это происходило, но, закрыв глаза, я вижу обычную небольшую комнату, скорее всего рабочий кабинет со служебным сейфом, книжными шкафами и окнами на теневую сторону.

Космонавты встали в ряд.

— Как вы себя чувствуете, — спросил «Железный король» у первого в ряду. — Готовы к полету?

— Самочувствие отличное. Лететь готов.

По лицу Королева скользнуло легкое облачко неудовольствия. Брови чуть сдвинулись.

— Как ваше самочувствие? — отрывисто спросил он следующего.

— Чувствую себя хорошо. Готов выполнить любое задание.

Гроза на челе академика собиралась все явственнее. К полному недоумению присутствующих! Чем он доволен? Что они сделали не так?

Юрий стоял не последним в ряду, но все-таки ближе к концу.

— Ну, — язвительно проронил Сергей Павлович, когда дошла очередь и до него. — Вы, конечно, тоже вполне здоровы и готовы лететь?

Гагарин замешкался. В нем происходила короткая

внутренняя борьба. Он смотрел прямо в глаза Королеву.

— К сожалению, — с усилием начал он, — у меня сейчас очень болит голова. Но я готов выполнить любое задание, — поспешно добавил он.

Король с облегчением рассмеялся.

— Чертовы сыны! — воскликнул он. А может, и как-то иначе. — У вас у всех болят головы. Просто раскалываются на части! Вам дали такие порошки. Я знаю, что все вы герои, но не нужно мне сейчас ваше геройство. Я хочу знать, от кого могу получить объективную информацию.

— Так Юра и полетел первым, — юмористически вздохнув, закончил Попович под громкий смех товарищей.

А если это был не он или этого вообще не было, то все равно миф прав! Ибо глубоко копнул самую сущность натуры Гагарина. Гагарин был как все, удивительно как все! Только чуточку смелее, добрее и прямодушнее...

...Фортуна не ошиблась, указав на него пальцем.

РУССКИЙ ИКАР

Летит Гагарин. Он устал чуть-чуть.
И перед ним торжественно

и строго
Блестит кремнистый
лермонтовский путь.
М. Светлов

Хвала и честь одиноким путникам, идущим в темноте, наугад, к далекому блуждающему огоньку истины. Их открытия, которые они потом принесут людям, измученные и опустошенные, подобно Прометею, отдавшему свет из собственной груди, разгорятся яркими солнцами. Их не забудут. Имена их священны.

Но вот 12 апреля 1961 года нашей эры от Земли отрывается первый человек, герой и любимец века, и его, как родильная рубашка, облекает соучастие многих.

Он уходит далеко от них, но не остается одиноким.

Он продолжает быть все тем же сыном толпы. Ощущение братства, взаимной ответственности, чувство плеча сопровождают его и несут более плавно и надежно, чем реактивная струя.

Гагарин был полностью лишен склонности к пафосу, иначе он бы произнес, наверное, как впоследствии Армстронг, вступивший на Луну, какие-нибудь удивительные слова, афоризм, вошедший во все учебники.

Но, стоя между небом и землей, прежде чем войти в ракету, запеленаться в ремни, он только улыбнулся и поднял обе руки кверху.

— До скорой встречи!

«Теперь с внешним миром, с руководителями полета, с товарищами космонавтами я мог поддерживать связь только по радио».

И пока длилась часовая готовность к старту, между ракетой и землей шел диалог. Он был то озабоченно-деловым, когда с Юрием разговаривали Королев и Каманин, то дружески-шутливым, если подходил Попович. Все это напоминало прощальные полчаса на вокзале у плотного вагонного стекла.

Гагарин. Как слышите меня?

Земля. Слышу хорошо. Приступайте к проверке скафандра.

Гагарин. Проверка телефонов и динамиков прошла нормально, перехожу на телефон.

Земля. Понял вас отлично. Данные ваши все принял, подтверждаю. Готовность к старту принял. У нас все идет нормально. Шесть минуток будет, так сказать, всяких дел... Юра, как дела?

Гагарин. Как учили (смех).

Земля. Займите исходное положение для регистрации физиологических функций.

Гагарин. Как, по данным медицины, — сердце бьется?

Земля. Вас слышу отлично. Пульс у вас шестьдесят четыре, дыхание двадцать четыре.

Гагарин. Понял. Значит, сердце бьется.

Земля. Объявлена десятиминутная готовность. Как у вас гермошлем, закрыт? Доложите.

Гагарин. Вас понял: объявлена десятиминутная готовность. Гермошлем закрыт. Все нормально, самочувствие хорошее, к старту готов.

Земля (голосом Королева, который сидит сейчас на командном пункте в белом пиджаке, напряженно сведя плечи). Минутная готовность, как вы слышите?

Гагарин (чуть приподняв голову за прозрачным забралом гермошлема). Вас понял: минутная готовность. Занял исходное положение.

А когда раздалась последняя команда «Пуск» и ракета ринулась вверх, Гагарин лихо, бедово, с чисто русским пренебрежением к тяготам и опасностям бросил свое знаменитое ямщицкое «Поехали!», подбадривая не себя, а тех, кто остается.

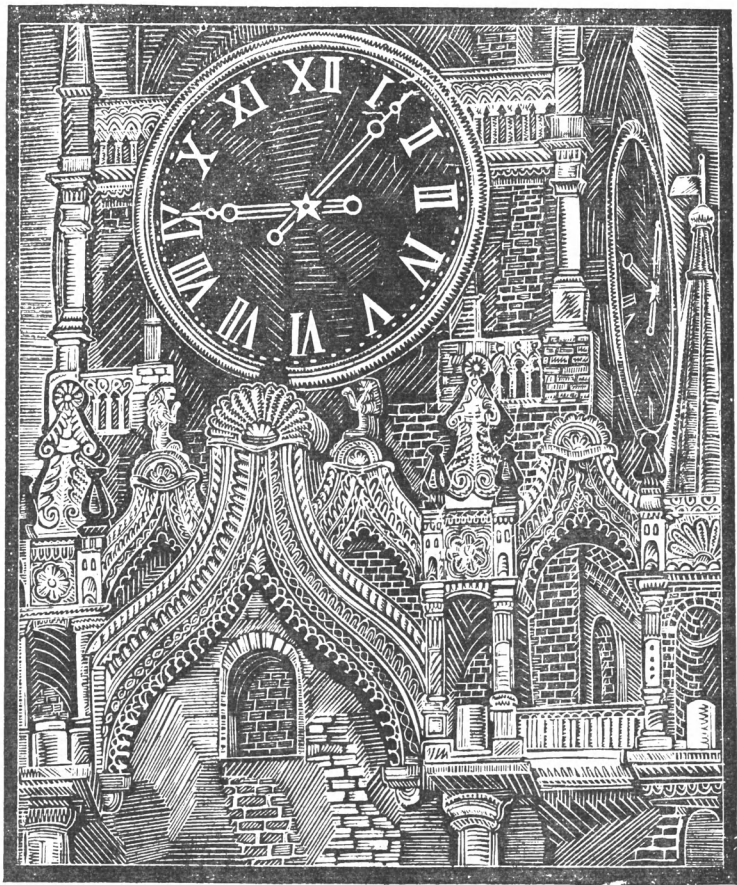
Ракета, приподнятая столбом тугого пламени, тронулась с места...

«Взгляд мой остановился на часах. Стрелки показывали 9 часов 7 минут по московскому времени. Я услышал свист и все нарастающий гул, почувствовал, как гигантская ракета задрожала всем своим корпусом и медленно, очень медленно оторвалась от стартового устройства».

В эти мгновения он уже не испытывал ни ошеломления, ни восторга. Все было точным и размеренным в его сознании. Только одно могло показаться странным: когда росли и росли перегрузки, с Земли голос Королева



Ю. А. ГАГАРИН



ему сообщил, что прошло семьдесят секунд после взлета. Он ответил бодро: «Самочувствие отличное. Все хорошо», — а сам подумал: «Неужели только семьдесят? Секунды длинные, как минуты». Но тотчас утешился воспоминанием: «На центрифуге приходилось переносить и не такое».

Одна за другой начали отделяться ступени ракеты. Их топливо выгорело; они сделали свое дело — вынесли корабль на орбиту.

И в то же мгновение тяжесть схлынула, а затем Ггарина словно подняло из кресла: он повис на ремнях. Но провис не вниз, а взлетел вверх. Вернее, в том направлении, которое еще за секунду перед тем считалось верхом. Между его громоздким скафандром и сиденьем кресла образовалась прослойка пустоты.

Невесомость — довольно активное состояние тела; мышцам хочется бороться с потерей опоры. Человек ощущает себя подобно оторвавшейся плети водяного растения, влекомого самой слабой волной. Тогда как единственно, чего это растение жаждет, — это уцепиться покрепче корнями за грунт.

Раньше, на тренировках, Юрий находился в состоянии невесомости несколько секунд, пока самолет низвергался вниз. Сейчас это странное, похожее на затянувшийся сон ощущение, когда «и руки и ноги стали будто совсем не моими», должно продлиться более часа.

Юрий взял бортовой журнал и начал записи. Почерк его не изменился, четкость букв также. Это порадовало его. Минуты теперь понеслись неимоверно быстро. Они утекали, ощутимо становясь прошлым, не задерживаясь на настоящем...

Он бы, пожалуй, поудивлялся этому, если б мог отдать внимание чему-то другому, кроме космической работы. Лишь его голова, которая ничего не забывает, впитала и это ощущение, оставив его про запас...

Однако одно мощное чувство все-таки пробивалось сквозь заградительные кордоны. Он ощущал токи солидарности, которые поднимались к нему от людей, оставшихся на Байконуре.

Земля. Как самочувствие?

Гагарин. Самочувствие отличное. Машина работает нормально. В иллюминаторе наблюдаю Землю. Все нормально. Как поняли меня?

Земля. Вас поняли!

Как никогда прежде, он испытывал счастливое сознание своей причастности к их мыслям и надеждам, которые нес сейчас в самом себе как драгоценный груз.

Гагарин. Продолжается полет в тени Земли. В первый иллюминатор сейчас наблюдаю звезду. Она проходит слева направо по иллюминатору. Ушла звездочка. Уходит, уходит...

Мир необычайно расширился; Гагарин чувствовал себя его первооткрывателем. И это не было преувеличением.

Разумеется, земной шар, как и все мироздание, существует отдельно от человека, и такой мир независим и безразличен к людям. Но Землю, бледно-сапфировый шар, окольцованный зарей, — эту Землю до Юрия не видел никто.

Краски родной планеты по-детски обрадовали его.

— Красота-то какая! — воскликнул он, видимо, совсем забыв, что его тенористый легкий голос, схваченный микрофоном, уже полетел из пределов внеземных обратно на Землю. На этот раз на Земле с большой буквы, на планету Земля, поставленную им в ряд других небесных тел.

Как все переменялось! Неба не стало. Привычное голубое небо, воспетое поэтами, сузилось до тоненького ободка вокруг выпуклого бока Земли.

Открылась бездна, звезд полна.
Звездам числа нет. Бездне — дна.

Эти ломоносовские стихи, знакомые со школы, он и не вспомнил теперь. А между тем именно они ожили и предстали перед ним воочию. Кругом была бездна; Гагарин скользил по ней. Его ракета, прорываясь сквозь атмосферу, светилась подобно новой звезде...

Ракета существовала, разумеется, помимо Юрия. Он даже не приложил к ней рук. Другие люди вели бесконечные расчеты, радовались и ужасались своим выкладкам. Другие, а не он, воплощали цифры в материальное тело из сверхпрочных сплавов и идеально пригнанных друг к другу механических членов.

Он увидел ее в глубине ангара уже готовой и в то же время неодушевленной. Годной к движению, но бездействующей.

И не он ее запускал... А все-таки она стала Его ракетой! Так дом становится нашим домом, когда мы в нем поселяемся. Ракета тоже стала домом, где единственный хозяин расположился как будто бы на первый взгляд пассивно, как спеленатая кукла, а на самом деле жил напряженно, насыщенно, деловито-трезво и романтично-приподнято.

И конечно же, не он был в ней, а она — в нем. Потому что любая самая громоздкая машина не более чем малость перед творческой силой человека.

Итак, Юрий мчится со скоростью близкой к 28 тысячам километров в час. Под ним поблескивают темным металлом океаны, в разрывах облаков видны континенты. Он чувствует себя скромным хозяином земного шара...

«С душевным трепетом всматривался я в окружающий мир, стараясь все разглядеть, понять и осмыслить. В иллюминаторе отсвечивали алмазные россыпи ярких

холодных звезд. До них было еще ой как далеко, может быть, десятки лет полета, и все же с орбиты к ним было значительно ближе, чем с Земли».

Подлетая к желтой Африке — так удивительно, что она оказалась в самом деле желтой, как на школьной карте мира! — Гагарин спохватился, что он ведь уже почти опоясал Землю.

По московскому времени было 10 часов 15 минут. Через десять минут включилась тормозная двигательная установка.

Корабль сошел с орбиты, и плотные слои атмосферы встретили его упруго, как морские волны. Для Гагарина они показались стеной огня: обгорала обшивка. Он невольно с беспокойством взглянул на термометр: нет, беснующееся пламя не накалило воздух; в кабине двадцать градусов тепла, как и прежде. Пока что все шло хорошо.

К нему возвращалась тяжесть. Сейчас она должна — теоретически — намного возрасти. А как будет на самом деле? Труднее, чем при взлете? Юрий напряг мускулы, готовясь встретить перегрузки. У него было литое тело. Уже спустя несколько лет, когда его лицо чуточку расплылось, а плечи раздались, очевидец вспоминал, что в Забайкалье, на встрече с японской молодежью, он встал на водные лыжи и стремительно, упоенно поплыл в пене и солнце. Все ахнули: это был все тот же атлет с античной фрески...

Юрий обладал истинно русской натурой, которая требовала действия. По складу своего характера он всегда жил в действительности. Каждое желание облекалось им в поступок.

Неожиданное обрушивается на многих, как буря, и сбивает с ног. Но истинный герой обладает врожденной небоязнью новизны. Способностью приближать к себе завтрашнее чудо на расстояние вытянутой руки.

Поэтому знаменитое гагаринское спокойствие, его дружелюбная невозмутимость перед любой переменной в судьбе были не следствием недостатка воображения или бесчувственностью, а лишь знаком того, что он внутренне всегда был готов к подвигу.

«Восток» приближался к Земле. Все системы работали отлично; Юрий благополучно опускался. И тут его покинули деловитость и напряжение. На минуту он стал тем, чем и надлежало ему быть сейчас, — Самым Счастливым Человеком На Свете.

«От избытка счастья я громко запел:

Родина слышит,
Родина знает...»

Внизу уже хорошо различалась Волга и знакомый город за оградой нагих весенних холмов. Очень знакомый: по учебе в техникуме, по занятиям в аэроклубе. Значит, он возвращается не только на Землю, не только на Родину, но и в обжитые, любимые им места.

Ну не удачник ли он — Юра Гагарин?!

...Обгоревший шар приземлился на вспаханную почву.

ВСТРЕЧА

Генерал Андрей Трофимович Стученко, родом из кубанских казаков, еще подростком воевал в коннице Буденного. (Потом Семен Михайлович, поздравляя его, писал: «Испытываю глубокое удовлетворение, что суровая школа гражданской войны послужила выдвижению из рядов героев-конармейцев крупных военных деятелей, в том числе и Вас».) В Отечественную войну, тридцати четырех лет от роду, он командовал 29-й гвардейской стрелковой дивизией, и его бойцы брали штурмом Гжатск. Он видел дымящиеся развалины крестьянских

изб, когда хитрым маневром с северо-востока 90-й гвардейский стрелковый полк под командованием подполковника Марусняка своим правым флангом ворвался в деревню Клушино.

— Вокруг лежали тогда глубокие мартовские снега. Я посадил гвардейцев на сани, так они и вкатили в Клушино, — рассказывал генерал.

У него сохранились снимки тех дней. Толпа солдат со вскинутыми вверх автоматами. Бледные, решительные, насупленные лица. И дгорающее здание за спиной; окна, плюющие огнем, трубы, грозящими перстами направленные в небо. Молодой плотный генерал в круглой каракулевой кубанке держит за плечо крестьянку в полушубке, и отовсюду к нему устремляются глаза, глаза....

На полях альбома, где наклеены эти драгоценные фотографии, рукой Гагарина синими чернилами позже вписано: «От меня, от родственников, от жителей города одному из освободителей Гжатска большая благодарность. 5.06.61 г.».

— Конечно, и он был среди мальчишек, полубосых и в обтрепанной одежде; бегал вокруг солдат и с восторгом смотрел на танки, на разведчиков с автоматами... Но когда я его спросил: «Юра, а меня ты помнишь? Ведь я один был там генерал», покачал головой, однако, видя мое огорчение, поспешно добавил: «Вас в лицо не помню, но генерала помню. Так это были вы? Вот здорово! Значит, вы — мой крестный!» И так совпало, что именно Стученко подготовил встречу Гагарина на Земле.

В это же самое утро Валентина Ивановна Гагарина в своей квартире на подмосковной станции занималась обычными домашними делами. В Москве холоднее, чем

на Байконуре или в Саратове; окна были еще плотно закрыты, день обещал остаться облачным... Валентина Ивановна покормила малышку Галю, подняла с кровати, умыла и усадила завтракать старшую.

Муж ее улетел уже неделю назад. Накануне ночью они долго разговаривали, представляли своих крошечных дочерей выросшими, даже замужними. Целая жизнь проигрывалась в воображении...

С тех пор каждый день и час она ждала известий. И все-таки утром опоздала включить телевизор. Сообщение о полете было уже передано: Гагарин в космосе!

Во весь телевизионный экран встала Красная площадь с набежавшими отовсюду толпами. Люди обнимались, пели, вскидывали над головой самодельные плакаты с торопливой надписью «Гагарину — ура!». А потом крупным планом показали портрет Юрия.

— Папка! — спокойно кивнула на него Леночка, грызя яблоко и болтая ногами.

Ее мать без сил опустилась на стул и обхватила ладонями разом побелевшие щеки...

Василий Федорович Бирюков, клушинский старожил, председатель сельского Совета, узнал о полете из последних известий.

Не успел собраться с мыслями, прикинуть, кто же это из Гагариных мог быть, потому что он знал их всех, начиная с деда Ивана Гагары; и сыновей, и внуков, и дядьев, и племянников, как в дверь вошел Алексей Иванович Гагарин, что сразу оживило его память. И тотчас раздался звонок из Гжатского райкома:

— Говорят, что космонавт родом из наших мест. Сейчас мы спешно устанавливаем: откуда именно? У вас по сельсоветским книгам такой не числится?

— А зачем мне в книги заглядывать? — отозвался Бирюков. — Я и так уже знаю, что он наш! И отец его сейчас тут. Передаю трубку.

Алексей Иванович, в тот день совершенно случайно заглянувший в сельсовет, к телефону подошел, но говорить не смог: руки тряслись, и голос перехватывало.

А ведь утро 12 апреля для него началось так обыденно! Была среда. Он подрядился плотничать на строительстве в колхозе и вышел из дому спозаранку.

Снег под Гжатском хоть и не везде сошел, но реки надулись и разлились. Старичок перевозчик, сажая Гагарина в лодку, полюбостствовал, в каком звании у него средний-то сынок. «А что?» — отозвался Алексей Иванович. «Да по радио сейчас передали, какой-то майор Гагарин в космосе, что ли, летает». — «Нет, мой пока старший лейтенант. До майора ему еще далеко. А за однофамильца порадуемся». Повеселевший Алексей Иванович продолжал путь. И лишь в сельсовете известие о сыне ошеломило его. Бирюков между тем кричал в телефон:

— Сейчас создадим условия! Отправим его в Гжатск!

Но выполнить это было не так-то просто; весенний разлив почти отрезал Клушино от Гжатска. Даже телеге не проехать, не то что «газику».

— Тогда, — рассказывает Василий Федорович, — мы пригнали верховых лошадей, кое-как подсадили в седло Алексея Ивановича; он хромой, на коне плохо держится. Да и разволновался очень. Сопровождать его отправили Якова Громова — поскакали они на Затворово: крюк несколько верст, а иначе не пробраться. Через несколько часов Яша, запыхавшись, вернулся. «Ну, — говорит, — все в порядке. Доставил. Дальше повезут на тракторе».

Вот так, — торжественно добавил Василий Федоро-

вич, — отец космонавта и узнал про полет своего сына у нас, в Клушине, на родимой земле. И это справедливо!

Между тем Анна Тимофеевна оставалась в Гжатске, на Ленинградской улице, все в том же домике, сруб которого перевезли после войны из деревни. Как обычно, она топила поутру печь.

Юрий потом писал, что во время полета думал о ней и даже беспокоился, сообщила ли жена что-нибудь о нем его матери.

Но едва ли Валентина Ивановна могла это сделать из Москвы: телефона в гагаринской избе не было. Да и что она стала бы сообщать, если сама целую неделю томилась неизвестностью, а, по свидетельству Каманина, окончательный выбор космонавта был определен лишь на космодроме? Юрий или несколько позабыл про докучные житейские мелочи в космосе — и то сказать, из той дали многое на земле могло представиться ему тогда и ближе между собой и проще! — или же впоследствии его переживания были записаны не вполне верно.

Совершенно точно лишь одно: у матери космонавта никаких предчувствий не возникло, и она ни о чем не догадывалась, пока дверь не распахнула невестка Мария, жена старшего сына Валентина.

— Да как же вы!.. Радио-то включите... Юрка наш в космосе! — И запричитала по-бабьи: — Что наделал, что наделал? Ведь двое деток у него!

Анна Тимофеевна всегда отличалась большим присутствием духа, разумностью и самообладанием. Юрий удался в нее.

Какая буря пронеслась в ее сердце, что она почувствовала и пережила при неожиданной вести, которую сообщил ей отнюдь не ликующе-торжественный голос

Левитана под бравурные звуки марша, а перепуганная, мало понимающая в космических делах женщина, мы попытаться не станем.

Но первое движение было, как всегда и у Юрия, действовать. Она поспешно сбросила домашнюю косынку, пригладила волосы и повязала дорожный платок.

— Я к Вале, — сказала она, трудно дыша. — Нельзя ее сейчас одну оставлять. У нее дети маленькие.

И, не подумав больше ни о ком на свете — ни о своем старике, который, едва забрезжила заря, отправился по холодку на работу, заткнув по-старинному за пояс топор; ни о замужней дочери Зое, ушедшей сейчас на службу, а в избе домовничать оставалась с уходом бабушки ее дочка школьница Тамара, которая спустя час в великой растерянности раздавала набежавшим корреспондентам, музейным работникам, любителям сувениров дяди Юрины вещи, кому книжку, кому гармонь; ни о младшеньком своем, Борiske, парне, слава богу, земном, но так трогательно похожем на Юру постановом головы, ростом, шириной плеч, что они долго носили одни и те же рубашки, а легкая, дружелюбная улыбка Бориса, помню, уже после гибели его брата вызвала у меня на миг смещение времен; настолько они показались схожи! — ни о ком и ни о чем не подумала Анна Тимофеевна в ту минуту. Твердым шагом двинулась она через весь город к железнодорожной станции.

И снова хочется обратиться к легенде, которая по-своему расцветчивает этот великий материнский исход.

Утренние поезда через Гжатск уже прошли. Касса больше не продавала билетов. Но Анна Тимофеевна постучала в затворенное фанерное окошечко. Беспкойство жгло ее изнутри, как уголек, забытый на загнетке.

— Я должна уехать, — сказала она. — В Москву.

Сей же час. Ждать никак нельзя, — и добавила: — Слышала, милая, по радио? Это мой сын в космосе летает, Гагарина я. А у него в Москве жена осталась да двое малюток...

Кассирша широко раскрыла глаза, не то испуганно, не то радостно ойкнула и опрометью кинулась разыскивать начальника станции. Даже окошка не прикрыла.

Пока Анна Тимофеевна, поручив себя людям, как раньше поручались богу, с крестьянским терпением ждала, — перрон ожил. Все служащие были обуреваемы бескорыстным желанием сделать невозможное, лишь бы выполнить просьбу матери космонавта.

Жезл дежурного властно остановил первый проходящий поезд. Земляки-гжатчане, уже одним этим отмеченные отныне перед всеми, посадили Анну Тимофеевну в тамбур.

А когда она приехала в Москву, Юрий уже невредимо опустился на саратовское поле. И от сердца у нее чуток отлегло...

Юрий, слегка пошатываясь, как человек, только что переживший громовой разряд, ступил на сырую комковатую землю.

Было одиннадцать часов утра. Ветрено. Он стоял среди невысоких холмов и буераков у подножия песчаного обрыва, словно срезанного лопатой, вблизи зябких кустов лесополосы — бузиновых, смородинных, голых акаций и клена...

Над ним — сумасшедшей величины небо, с рваными быстрыми облаками. «Небо на одного», как говорят летчики.

После стиснутости кабины — весь простор. После комка багрового пламени — голубизна и неподвижность. Земной рай состоял из тишины и света! Только ветер переваливал с холма на холм да кровь шумела в ушах.

Юрий медленно повел взглядом.

Наткнулся на почти отвесное солнце... В эти первые полчаса у него было странное лицо: без улыбки, но высветленное, будто каждый солнечный луч дарился ему заново. Словно он не до конца еще поверил, что стоит на твердой земле, вспаханной под зябь, а не на крутящемся шаре, в сердцевине которого запрятан огонь!

Светлые Юрины волосы спутались надо лбом. От великой усталости брови придавили веки. В зрачках еще не растаяла чернота космоса...

Выпустив пятнистого теленка потоптаться на вольной земле, Анна Акимовна Тахтарова, жена сторожа лесничества и бабушка шестилетней Риты, пошла вместе с внучкой в огород вскопать грядки сколько успеет до обеда.

Она была повязана низко на лоб платком. Платок этот показался бы очень схож с другим, который сейчас за тридевять земель от нее надевала Анна Тимофеевна Гагарина, — если было б кому сравнить! Но Анна Акимовна ничего не знала ни о матери космонавта, ни о самом космонавте, потому что за делами тоже не включила с утра радио.

И когда внучка Рита дернула ее за рукав, тыча куда-то в поля замаранным кулачком, Анна Акимовна выпрямила натруженную спину — и обомлела.

Недалеко от них, почитай, шагов за сто — кто в полях шаги меряет! — тяжело переваливаясь, двигалась диковинная фигура. Руки, ноги, туловище — все неуклюже обтянуто в толстую ткань цвета подсолнечника. На плечах водолазный шар.

Чужак замахал рукою. Тахтарова, не отпуская внучку, с опаской к нему приближалась.

Юрий тоже еще издали приметил их торопливые фигурки. Спотыкаясь, они шли по взмокшей, недавно оттаявшей почве с пупырчатыми блюдечками позднего снега по ложбинам. Но шаги становились все медленнее... Через минуту перед ним стояли две перепуганные землянки: малорослая пожилая женщина с несколько расплывшимися татарскими чертами, высоким морщинистым лбом и прищуренными глазами и маленькая девочка, одетая по-зимнему и поэтому похожая на ватную куклу.

— Свой я! Советский! — закричал Гагарин против ветра, захлебываясь им.

Тахтарова разглядела молодое лицо и взмокшие волосы из-под шлема. Чтобы успокоить ее окончательно, он прибавил совсем по-газетному:

— Я летчик-космонавт. Вернулся из космоса...

А у Анны Акимовны сын Иосиф служил в армии. Она понемногу оттаяла и заулыбалась. Гагарин вспоминает эту сцену так:

«— Неужели из космоса? — не совсем уверенно спросила женщина.

— Представьте себе, да, — сказал я».

Их первые слова были случайны и беспорядочны; уже через полчаса их нельзя было бы припомнить с достоверностью.

Председатель колхоза «Ленинский путь» Николай Михайлович Шпак, на чье поле и приземлился Гагарин, пересказывал эту встречу так:

— В поле, за селом Смеловкой, работала жена лесника. Ее внучка Рита заметила, как неподалеку приземлился человек, одетый в красный комбинезон. Анна Акимовна тогда не знала о полете. Космонавт подошел и представился: «Офицер Юрий Гагарин». Она позвала его в дом покушать. Он ответил, что сыт, и спросил,

где можно позвонить по телефону. Анна Акимовна хотела его проводить в правление колхоза, но тут подошли трактористы из соседнего колхоза имени Шевченко...

Моментальный портрет Ивана Кузьмича Руденко, учетчика тракторной бригады, таков: синяя клетчатая рубаха навывпуск, щетинка по загорелым дочерна щекам, белые неровные зубы и кепка ниже бровей.

— Ну и что ж, что сел на смеловское поле! — говорит он. — А встречали-то первым его мы, шевченковцы. Пришла с поля ночная смена; был у нас приемник, вот и услышали о запуске. Сгрудились все, ловим каждое слово, руки друг другу жмем, по плечам хлопаем. Кончилось сообщение тем, что он летит над Африкой. Ну, думаем, Африка далеко, успеем в поле сходить, поработать. А наш клин аккурат к смеловской пашне примыкает: метров двадцать в сторону — и приземлился бы он у нас... Только мы еще об этом ничего не знали. Сеем ячмень, боронуем. Трактор тарахтит.

А его тракторный звук, видать, обрадовал, он уж хотел сам до нас идти. Со старухой никак не столкнуться, а ему скорее надо к телефону. Ведь сколько людей волнуются, ждут...

Поднялись мы в это время на холм, видим: лесничиха, а рядом с ней — нет, мы его тоже сразу не признали! «Давайте, — говорит, — знакомиться. Я первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин». Мы переглянулись недоверчиво: Гагарин-то над Африкой летит! «Да помогите же мне раздеться!» — потерял он терпенье.

Видим, человек устал, запарился... Ну, обняли мы его, расцеловали, хотели на трактор посадить, ан уже грузовик с шоссе прямо на пашню сворачивает... Гагарин

было пошел с ними, потом вернулся, крикнул нам: «Становитесь, ребята, обратно на это самое место — сфотографируемся...»

Тем же летом приезжая девочка из Ярославля посадила на гагаринское поле деревцо и шпагатом привязала этикетку: «От пионерки Гончаровой Оли, в честь героизма первого космонавта». Под дождями надпись скоро слиняла, но столбик трактористы объезжали, оставляя огрех. Потом и дорогу к нему проторили. Это еще до того, как памятник здесь поставили.

После той тревожной ночи в маленьком домике на Байконуре, когда Николай Петрович Каманин долго прислушивался в соседней комнате сначала к вечерней болтовне Юрия и Германа, а потом — еще более напряженно — к тишине, наступившей за стеною; когда Королев среди ночи, не выдержав, заглянул в их спальню, постоял на пороге с книжкой в руках и на цыпочках отошел; в то самое утро на стартовой площадке Николай Петрович последним пожал Юрию руку у лифта к ракете и коротко сказал:

— До встречи в районе приземления через несколько часов.

Ракета ринулась вверх. «После сброса обтекателя, — записывает Каманин в своем дневнике, — Гагарин доложил: «Светло, вижу Землю, облака». Через тринадцать минут после старта мы уже знали: первый в мире полет человека по космической орбите начался».

Истекло всего двадцать минут с начала полета, а с байконурского аэродрома уже поднялся самолет Ан-12 и взял курс в район посадки. О благополучном приземлении слышали в пути.

«...Аэродром в Куйбышеве. Открылась дверь самолета, и Юрий стал спускаться. Он был в зимнем летном шлеме и в голубом теплом комбинезоне. За девять часов, которые прошли с момента посадки в космический

корабль до этой встречи на Куйбышевском аэродроме, я так много пережил за него, что он стал для меня вторым сыном. Мы крепко обнялись и расцеловались. Со всех сторон щелкали кино- и фотоаппараты, толпа все росла, была опасность большой давки; Юрий, хотя и улыбался, выглядел очень уставшим (мне показалось, что это усталость от полета, а не от встречи, как уверяли многие). Необходимо было прекратить объятия и восторги. Я попросил Юрия сесть в машину...

Но еще раньше о порядке позаботился на правах хозяина генерал Стученко.

Вид спускавшегося человека на мгновение озадачил: неосознанно для себя генерал ожидал встретить героя обликом посolidнее, пошире в плечах, поважнее лицом... А к нему сбегал по трапу в измятом голубом комбинезоне стройный юноша с немного растерянной улыбкой.

Генерал взял под козырек, поздравил с завершением полета и с присвоением нового воинского звания. Но официальные слова как-то сами собою потерялись; Гагарин и на генерала смотрел с тем же трогательным выражением блаженства и ошеломления. Мгновенно расчувствовавшийся генерал сгреб его в охапку.

И только затем он перешел в объятия Каманина и Титова. Гагарин так вспоминает свой первый разговор с Германом:

«— Доволен? — спросил он меня.

— Очень, — ответил я, — ты будешь так же доволен в следующий раз...»

Потом их всех увезли на дачу, где Гагарин мог передохнуть. Дача была трехэтажная, на высоком обрыве, с видом на противоположный берег, где леса за Волгой уходили уже так далеко, что казались синим морем... Юрий немного погулял по окрестностям и даже сыграл в бильярд.

За обедом все жадно его расспрашивали. Он отвечал охотно, но сбивчиво; воспоминания не устоялись еще и теснили друг друга. Землю он называл, как помнится Андрею Трофимовичу Стученко, по-чкаловски: «земным шариком»...

— А что, если послать самолет в Москву за твоей женой? Пусть она побудет здесь, а в Москву полетите вместе, — предложил генерал после обеда. Ему очень хотелось сделать что-нибудь особо приятное для Юрия; не по службе — по душе!

Гагарин на мгновение задумался, потом покачал головой.

— Пожалуй, не стоит. Ведь Валентина сейчас кормит грудью ребенка. Устанет, разволнуется, может молоко пропасть.

Андрей Трофимович, подумав, согласился с ним:

— Это верно. Пусть попривыкнет к мысли, что все благополучно. Тогда и встреча у вас будет более легкой.

— А потом я дал команду, чтоб за сутки ему сшили майорскую форму, — сказал Стученко.

— Успели? — засомневалась я.

— Еще бы!

«Когда я помог Юрию Алексеевичу надеть парадный мундир, — вспоминает один из портных, которые вдохновенно, забыв о времени, сутки напролет не выходили из ателье, — он улыбнулся, взял лист бумаги и написал: «Благодарю за заботу. Ю. Гагарин».

Нет, греха кичливости не водилось за нашим космическим первенцем! Он ценил всякий труд. Приземлившись, первым долгом спросил у трактористов: «А вы уже сеете?» На Смоленщине сев ведь начинался позднее...

Друзьям космонавтам Гагарин повторял: «Ребята, герой бессмертный и славный — это наш советский на-

род... А мы лишь его сыны с Золотыми Звездами на мундирах».

В прохладное облачное утро 14 апреля за Гагариным прилетел из Москвы специальный самолет. Километрах в пятидесяти от столицы его нагнал почетный эскорт из семи истребителей: два справа, два слева и три сзади.

Боковые МиГи шли так близко, что Юрий видел улыбающиеся лица летчиков и сам улыбался им в ответ. Он даже попросил радиста послать приветствие: «Друзьям истребителям горячий привет!»

А потом он увидел сверху толпы людей, переполненные улицы Москвы, Внуковский аэродром в разноцветных шарах — ахнул и заволновался. Самолет, пробежав по взлетной дорожке, остановился за сто метров перед трибуной. По серому полю шла узкая длинная лента ковра. Она начиналась у лестницы, по которой сейчас спускался космонавт: «Надо было идти и идти одному. И я пошел».

Воздушные шары взлетели вверх, оркестр заиграл марш, напряженные торжественные лица стали наплывать ближе — Гагарин шел бравым размашистым шагом, хотя у него на одном ботинке развязался шнурок...

«Да, мне было страшно выступать перед тысячами людей, видеть их изумленные, восторженные лица. Я был готов к испытанию космосом, но не подготовлен к испытанию человеческим морем глаз...»

...С тех пор жизнь Юрия Гагарина развивалась как бы в двух планах.

Для себя он продолжал оставаться офицером, который готов был действовать согласно приказу в любое время суток. Он по-прежнему четко и дисциплинированно нес свои обязанности в городке космонавтов. С миссией дружбы объездил много стран — это тоже была его работа... Последние годы Юрий Алексеевич старательно учился в военной академии, а за две недели до гибели показывал с гордостью новенький диплом двоюродной сестре, той самой, что некогда отвозила его в Люберцы: «Смотри, Тоня, я теперь инженер!» Жена его на ту пору лежала в больнице; он один домовничал с подрастающими дочками.

Он вырослел, менялась его внешность, устраивался быт...

Но для всего человечества он продолжал оставаться космическим первенцем планеты, тем, кто ослепил мир открытой юношеской улыбкой!

Я вовсе не убеждена, что легенда дает непременно улучшенный отпечаток героев. Наоборот, человек в легенде выглядит часто беднее и одностороннее своего живого прототипа. Но зато легче запоминается, потому что предельно ясен! В легенде честность есть честность; если красота, так уж красота, а доблесть — отвага без оговорок.

Личность Юрия Гагарина потому так легко ложится в легенду, что она уже спервоначалу являла черты ясности и удивительной «всеобщности». Он был человеком, который не столько поднялся над другими, сколько вместе с собою поднял на пьедестал всю свою эпоху, эпоху масс и коллективных усилий.

Он будто звук, усиленный горным эхом. Путник мал, но велики горы — и вдруг они стали едины и слитны. Такой Юрий Гагарин.

Совершать героическое — значит отважиться на то, что сегодня кажется немыслимым для большинства. И быть готовым поплатиться за это.

Для самого героя его подвиг — предел всех возможностей. Если он оставляет что-то «про запас», то самое отважное деяние тем самым переходит в разряд работы: трудной, достойной всяческого возвеличивания и преклонения, но работы. Подвиг же всегда прорыв в Великую Неизвестность. При самых точных предварительных расчетах человек пускается в это предприятие как бы с завязанными глазами, полный внутреннего напряжения и готовности к любому исходу.

Мне не кажутся правомерными рассуждения, что конструктор, рассчитавший, и инженер, построивший первую ракету, по праву делят с космонавтом его подвиг. Они подготовили условия подвига, но вся тяжесть выбора и смертельного риска пала на одного. А предоставил ли он вести космический корабль автоматам или брал на себя ручное управление; приземлился или выбрасывался катапультной, — несущественные частности.

...Мы уже никогда не узнаем, чему научился, что вынес Гагарин из своих триумфальных кругосветных путешествий, но что он не потерял, не растратил себя — мы знаем.

Кто-то сказал: «Моя тень обгоняет меня».

Тень фигуры Гагарина легла по всем континентам. Но он не гнался за нею; он шел своим обычным человеческим шагом...

Гагарин желал и умел остаться самим собой.

К своему тридцать четвертому году он подходил во всеоружии знаний, опыта, доброты, готовый к труду на полную отдачу. Мужество всегда имеет свою неизменную цену. Гагарин обладал двумя извечными добродетелями: он был смелым и великодушным и поэтому, став героем своего времени, останется таким и для будущих веков.

СОДЕРЖАНИЕ

Первое знакомство	10
Родители	12
Клушино в стародавние времена	17
Клушино в Октябре	24
Детство	26
Первый класс. Война	37
Отрочество	47
Рассказ учительницы. Школьные годы	49
Под Москвою, в Люберцах	64
Новые места, новые люди	75
Саратовские очевидцы	82
Луна, Рахметов и дневник Гагарина	89
У бронзовых коней	98
Первые крылья	103
Оренбургские ландыши	118
Предчувствия и перемены	126
Соленый пот космонавтов	135
Прыжок! Еще прыжок!	144
Зарубка на истории человечества	152
Палец Фортуны	158
Русский Икар	165
Встреча	174

Обухова Л. А.

О-26 Любимец века: Гагарин. Повесть-воспоминание
(Изд. 2-е, доп. — М.: Мол. гвардия, 1979. — 191 с.,
ил. — (Пионер — значит первый).

В пер.: 35 к. 100 000 экз.

Книга о замечательном сыне нашей Родины — Юрии Алексеевиче Гагарине, соединившем в себе лучшие черты современника, и о времени, рождающем Гагариных.

О $\frac{70803-135}{078(02)-79}$ 062—79. 4803000000

**ББК 39.6г
6Т6(09)**

Для среднего школьного возраста
ИБ № 2070

Лидия Алексеевна Обухова

ЛЮБИМЕЦ ВЕКА

Редактор **Людмила Лузянина**

Художник **Юрий Иванов**

Художественный редактор **Анна Романова**

Технический редактор **Тамара Шельдова**

Корректор **Людмила Четыркина**

Сдано в набор 09.12.78. Подписано в печать 18.05.79. А12064.
Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура
«Журнальная рубленая». Печать высокая. Условн. печ. л. 8,4.
Учетно-изд. л. 8,2. Тираж 100 000 экз. Цена 35 коп. Заказ 2254.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типогра-
фии: 103030, Москва, К-30, Суцеская, 21.

35 коп.



64[27]
ВЫПУСК

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ